



*Луи Куперус*

# ТАЙНАЯ СИЛА

издательство  
«Геликон Плюс»

Луи Куперус

**Тайная сила**

«Геликон Плюс»

1900

**Куперус Л.**

Тайная сила / Л. Куперус — «Геликон Плюс», 1900

ISBN 978-5-93682-975-8

Действие романа одного из самых известных и загадочных классиков нидерландской литературы начала XX века разворачивается в Индонезии. Любовь мачехи и пасынка, вмешательство тайных сил, древних духов на фоне жизни нидерландской колонии, экзотические пейзажи, безукоризненный, хотя и весьма прихотливый стиль с отчетливым привкусом модерна.

ISBN 978-5-93682-975-8

© Куперус Л., 1900  
© Геликон Плюс, 1900

# Содержание

Предисловие переводчика	6
Глава первая	9
I	9
II	13
III	17
IV	23
V	26
VI	29
Глава вторая	31
I	31
II	35
III	39
Конец ознакомительного фрагмента.	41

# Луи Куперус Тайная сила

© Михайлова И., перевод, 2014

© «Геликон Плюс», макет, 2014

## Предисловие переводчика



Луи Куперус (1863–1923) – самый изящный и самый чарующий прозаик в нидерландской литературе за всю ее историю: достаточно прочесть несколько строк, написанных его необык-

новенным, нарушающим правила нидерландской грамматики, изысканным пером, как погружаешься в неожиданно многомерный мир кипящих людских страстей, мир одухотворенной и таинственной природы, мир мерцающей красоты, отдающий пряным привкусом декаданса. Куперус родился в аристократической семье в Гааге, но значительная часть его детства прошла в Нидерландской Индии, среди таинственной тропической природы, что, несомненно, наложило отпечаток на его мироощущение. Став взрослым, Куперус много путешествовал, в том числе по Греции, Алжиру, Египту и Японии, и подолгу жил за границей, предпочитая Лазурный берег побережью Северного моря. Его творчество представляет собой удивительный синтез множества настроений и идей, витавших в воздухе на рубеже XIX–XX веков. Пристальное внимание натуралистов к наследственности, среде и патологическим проявлениям человеческой природы сочетается с эстетизмом и дендизмом; интерес к анархизму и вопросам социального устройства соседствует с увлечением мистицизмом; бесстрашие, с которым анализируется и изображается любовь (в том числе однополая), не вступает в противоречие с морализаторством. О чем бы ни писал Куперус, какие ужасные сцены ни разворачивал бы перед взором читателя (убийства, лужи крови, трупы, сбрасываемые в реку) – все это происходит на фоне чего-то сказочно красивого: тропической природы, утонченных гаагских будуаров и салонов, фантастических гор; Куперус всегда остается аристократом и рафинированным эстетом.

Куперус стал популярен в Европе уже при жизни, о чем свидетельствуют многочисленные упоминания о нем во всех обзорах голландской словесности в дореволюционных русских журналах (ссылающихся на английскую, французскую и немецкую периодику) и тот факт, что Оскар Уайльд в 1892 году прислал ему в знак уважения свой недавно вышедший «Портрет Дориана Грея» и письмо. С 1902 по 1907 год в Петербурге вышли переводы четырех романов Куперуса. После этого он на русский язык до сих пор не переводился.

Чтобы почувствовать, каким видели Куперуса русские читатели Серебряного века, приведем фрагмент из статьи 1902 года его переводчицы Е. Половцевой. Статья свидетельствует о хорошем знании и понимании его творчества.

«Луи Куперус – наиболее известный из современных голландских писателей – родился 10 июня 1863 года и принадлежит к кружку молодых писателей Голландии. Несмотря на свою молодость, литературный талант голландского беллетриста уже успел представить в своем развитии три яркие периода, из которых каждый всецело выразился в его произведениях.

Когда в 1889 году Л. Куперус выступил в печати со своим романом „Элине Вере“, критика сразу его заметила и вскоре отвела ему почетное место в ряду писателей натуралистической школы, главою которой считается Эмиль Золя. По мере появления следующих затем романов Куперуса – Noodlot („Судьба“), Extaze („Экстаз“), Eene illuzie („Одна иллюзия“) – его неоднократно не только сравнивали с французским автором, но даже называли голландским Золя.

Все названные романы – патологического характера. Болезненное, пессимистическое направление многих талантливых людей конца XIX века, разработка явлений гипнотизма, сомнабулизма, авторитетные взгляды светил науки на гениальность, вырождение, наследственность (Шарко, Ломброзо и др.) – все это отразилось в жизни, из которой брал свои сюжеты молодой начинающий писатель. Болезни воли, скорь души, неудовлетворенность – вот главные мотивы героев и героинь Куперуса. Он берет людей прямо из жизни, тех, которые его окружают, которых он ежедневно видит вокруг себя.

Луи Куперус в своих первых романах, несомненно, натуралист, но в то же время он – романист-поэт, как и все голландские беллетристы. В его произведениях читатель находит не только одну живую фотографию действительности, но и видит ясно идеалы автора, его стремление заставить своих героев, больных болезнью воли, выздоравливать душевно благодаря нравственным усилиям над собою. Вдобавок Л. Куперус – субъективный писатель. Он заставляет нас не только интересоваться его героями и героинями, но и симпатизировать им,

желать им успеха. Среда, в которой они вращаются, – буржуазно-аристократическая, салонная и будуарная.

Большой талант Куперуса и богатейшая фантазия, составляющая его отличительную черту, не дали молодому писателю замкнуться в тесных рамках салонного романа, и вот начинается его второй литературный период. Вслед за романом *Metamorfose* (1897) Куперус совершенно оставляет патологию. Его произведения *Majesteit* („Его величество“), *Wereldvrede* („Всемирный мир“) и *Noogetroeven* („Большие козыри“) встречены были критикою с еще большим сочувствием, нежели предыдущие романы. В этих произведениях Куперус порывает окончательно нити, связывавшие его с субъективизмом. И талант его приобретает свободный полет, дающий ему возможность возвыситься над тем мирком, к которому относятся его творения. Он желает оставаться реалистом, хотя идеалы его так высоки, что не могут в наше время осуществиться и потому остаются идеалами.

С этого момента Куперус как художник пожелал снять с себя последние оковы шаблонности, и это стремление его, по отзыву всех критиков, имело огромное влияние на его стиль. Он перешел к сказочной форме, и его последние произведения – *Psyche* („Психея“), *Fidessa* („Фидесса“) и *Babylon* („Вавилон“) носят на себе характер фантастический, символический.

Фантастический роман „Психея“ появился в голландском журнале *Gids*. Он написан чрезвычайно красивым поэтическим языком, представляющим для перевода большие трудности, так как автор, во избежание германизмов (за что соотечественники его особенно жалуют), составляет совершенно новые слова, неупотребительные в голландском языке».

В 1902 году, когда были написаны эти восторженные строки, Куперус находился на середине своего творческого пути. После сказок Куперус снова вернулся к созданию психологических семейных романов, – но уже на другом уровне, сочетающем натуралистическое исследование динамики души с вниманием к иррациональной, мистической составляющей (самый знаменитый из них – «Тайная сила», 1900; вспомним также «О старых людях и о том, что проходит мимо», 1906); что потом он увлечется жанром психологического исторического романа о тщете славы («Гора солнца», 1906, «Ксеркс, или Высокомерие», 1919, «Искандер», 1920), а также изящными путевыми зарисовками-арабесками («Короткие арабески», 1911, «Ниппон», 1925). Все эти произведения зрелого Куперуса до сих пор еще ждут, чтобы их перевели на русский язык.

Знаменитый роман «Тайная сила» создавался зимой 1899–1900 годов, когда Куперус с женой гостил у родственников в Нидерландской Индии. Это повествование о драматических событиях в семье некоего Отто ван Аудейка, занимающего пост голландского резидента в Лабуванги (остров Ява). Инструментом тяготеющего над ним и его домочадцами рока становится «тайная сила» – некое мистическое начало, которому соприродны туземцы и которого не понимают и не чувствуют европейцы. О сюжете этого романа не скажем больше ни слова, чтобы вам было интересно его прочесть и посмотреть снятые по нему фильмы.

В наше время по книгам Куперуса снимаются фильмы (например, «Элина Вере», 1991) и ставятся телесериалы, к которым так располагают его многосюжетные семейные романы («Малые души», 1969; «Тайная сила», 1974; «О старых людях и о том, что проходит мимо», 1975). В 2010 году знаменитый голливудский режиссер голландец Пол Верховен (*Paul Verhoeven*, правильнее – Паул Верхувен) начал готовить фильм по «Тайной силе», но фильм до сих пор не снят.

*Ирина Михайлова*

## Глава первая

### I

Полная луна, сегодня трагическая, показалась очень рано, до наступления темноты; огромный кроваво-розовый шар пламенел, точно заходящее солнце, за стволами тамариндов по сторонам Длинной Аллеи и поднимался, постепенно очищаясь от трагического оттенка, на побледневший небосклон. Мертвенная тишина окутывала все вокруг вуалью молчания, как будто долгая полуденная сиеста сразу перешла в вечерний отдых, минуя оживление в час прохлады. Над городом, чьи белоколонные виллы прятались в листве аллей и садов, висело пушистое беззвучие, в душном безветрии вечернего неба, как будто блеклый вечер устал от палящего дня восточного муссона. Дома беззвучно прятались в листве своих садов. Здесь и там зажигали свет. Вдруг залаяла собака, ей ответила другая, их лай разорвал пушистую тишину на длинные, грубые лоскуты; злые собачьи глотки – осипшие, сбившиеся с дыхания, хрипло-враждебные – внезапно тоже смолкли.

В конце Длинной Аллеи в глубине сада располагался Резидентский<sup>1</sup> дворец. Невысоко, в тени от крон баньянов, вились, убегая в глубь сада, зигзаги его черепичных крыш, переходящих одна в другую, примитивной формы: по крыше над каждой галереей, по крыше над каждой комнатой, все вместе они сливались в один вытянутый силуэт. Однако со стороны, смотревшей на Длинную Аллею, стояли белые колонны передней галереи и белые колоны портика, высоко-светлые, на большом расстоянии друг от друга, раздвигаясь еще шире там, где находился внушительный дворцовый портал. Через открытые двери виднелась средняя галерея, уходившая вдаль и лишь кое-где освещенная редкими огоньками.

Служитель зажигал фонари сбоку от дома. Два полукруга из огромных белых горшков с розами и хризантемами, с пальмами и каладиумом разбежались вправо и влево перед входом в дом. Между ними пролегла широкая дорожка из гравия – подъезд к дому, далее простирался широкий высохший газон, окруженный горшками, а посередине, на кирпичном пьедестале, высилась монументальная ваза с огромной латанией. Зеленой свежестью веяло от извилистого пруда, на котором теснились гигантские листья виктории регии с загнутыми вверх краями, точно темно-зеленые подносы, а между ними там и здесь белели лотосоподобные цветки. Мимо пруда вела извилистая тропа, и на вымощенной галькой круглой площадке стоял высокий флагшток. Флаг уже спустили, как всегда, в шесть часов. Незатейливая ограда отделяла двор от Длинной Аллеи.

На этом гигантском дворе царил тишина. Теперь уже горели, старательно зажженные мальчишкой-слугой, один светильник в люстре в передней галерее и одна лампа внутри дома, словно два ночника во дворце из колонн и по-детски убегающих вдаль крыш. На лестнице перед конторским помещением сидели несколько служителей в темной униформе, переговаривавшихся шепотом. Через некоторое время один из них поднялся и пошел неторопливым шагом человека, не желающего спешить, к бронзовому колоколу, висевшему у домика для служителей, на краю двора. Пройдя отделявшие его от домика сто шагов, он медленно ударил семь раз в колокол, и удары эти отдавались далеким эхом. Бронзовый язык ударялся о стенки

---

<sup>1</sup> **Резидент** – высокопоставленный служащий нидерландской колониальной администрации, стоящий во главе административной области («резидентства»), на которые была поделена Нидерландская Индия (современная Индонезия). Выше резидента находился **генерал-губернатор** Нидерландской Индии; «рядом» с резидентом стоял **регент**, считавшийся «младшим братом» резидента, – представитель яванской знати, принятый на службу нидерландской колониальной администрацией, на которого опирался резидент в управлении местным населением; ниже резидента – **ассистент-резиденты**. (Здесь и далее примечания переводчика.)

колокола, и каждый удар разносился волнообразно по округе. Собаки вновь подняли лай. Служитель, по-юношески стройный в синем полотняном кителе и брюках с желтыми галунами и отворотами, неспешной пластичной походкой прошел те же сто шагов обратно к остальным служителям.

Теперь уже и в конторе зажгли огни, как и в примыкающей к ней спальне: сквозь жалюзи проглядывал полусвет. Резидент, крупный тучный мужчина, в черном пиджаке и белых брюках, ходивший туда-сюда по комнате, крикнул в окно:

– Служитель!

Старший служитель, в полотняной униформе с полами, обшитыми широким желтым позументом, подошел на полусогнутых ногах и присел на пятки.

– Позови *нонну*<sup>2</sup>!

– *Нонна* уже ушла, *кандженг*<sup>3</sup>! – прошептал служитель и, сложив ладони, поднес их к склоненному лбу в почтительном поклоне семба.

– И куда же *нонна* ушла?

– Я не выяснял, *кандженг*! – сказал служитель, словно извиняясь, что не может ответить на вопрос, и снова сложил руки в сембе.

Резидент ненадолго задумался.

– Мою фуражку! – сказал он. – Мою трость!

Старший служитель, все еще на полусогнутых ногах, словно стремясь съежиться от благоговения, проскользнул по комнате и, присев на пятки, протянул резиденту маленькую форменную фуражку и трость.

Резидент вышел на улицу. Служитель поспешал за ним, держа в руке тали-апи – зажженный факел на длинном штоке, которым размахивал на ходу, давая знать прохожим, что это идет резидент. Тот медленно проследовал по гравийной дорожке к воротам, вышел на Длинную Аллею. Вдоль аллеи, обсаженной тамариндами и пирамидальными кипарисами, располагались виллы высших должностных лиц, слабоосвещенные, беззвучные, с виду необитаемые, с белеющими в вечерней мгле рядами цветочных горшков.

Резидент прошел мимо дома секретаря, затем миновал школу для девочек, затем контору нотариуса, гостиницу, почту, виллу президента Земельного совета. В конце Длинной Аллеи стояла католическая церковь, а дальше, за мостом через реку, находился вокзал. Близ вокзала лучше других домов был освещен магазин для европейцев. Луна, вскарабкавшаяся на небосвод еще выше и серебрящаяся тем сильнее, чем выше она взбиралась, заливала светом белый мост, белый магазин, белую церковь, а посередине квадратную площадь, открытую, без деревьев, в центре которой стоял небольшой остроконечный монумент – Городские часы.

Резидент никого не встретил; время от времени попадались лишь отдельные яванцы – едва различимое движение в тени деревьев, и тогда служитель еще сильнее размахивал огненным факелом. И яванцы всегда понимали, и съеживались у края дороги, и на пятках отползали в сторону.

Резидент мрачно шел дальше большими решительными шагами. С площади он повернул направо и прошел мимо протестантской церкви, в направлении красивой виллы с правильными ионическими колоннами, ярко освещенными люстрами из керосиновых светильников. Это был клуб «Конкордия». На ступеньках сидели несколько служителей в белых кителях. По передней галерее прогуливался европеец в белом костюме, хозяин клуба. Но за большим столом никого не было, и большие соломенные кресла напрасно раскрывали свои объятия.

Хозяин клуба, увидев резидента, поклонился, и резидент коротко приложил палец к фуражке, прошел мимо клуба и свернул налево. Он дошел до конца аллеи, миновал малень-

---

<sup>2</sup> Нонна – девушка, хозяйская дочь (малайск.).

<sup>3</sup> Кандженг (малайск.) – титул, используемый в обращении к высокопоставленному лицу.

кие темные домики, спрятавшиеся в глубине садилов, снова свернул и прошел к устью реки. Здесь были причалены рыбацкие суда, борт к борту, над водой, от которой поднимался рыбный дух, витал монотонный и тоскливый напев мадурских моряков. Пройдя мимо конторы порта, резидент взошел на пирс, далеко выдававшийся в море, на конце которого небольшой маяк, словно уменьшенная Эйфелева башня, вздымал к небу свой железный канделябр с огнем на самом верхе. Здесь резидент остановился и сделал глубокий вдох. Внезапно поднялся ветер, восточный муссон, налетевший издали, как всегда в этот час. Но время от времени дуновение воздуха внезапно стихало, словно складывая от бессилья веера своих крыльев, и высокая морская вода разглаживала белолунные пенные завитки и светилась фосфорным светом, длинными бледными полосами.

По морю приближалось тоскливое монотонно-ритмичное пение; точно большая ночная птица в небе нарисовался темный парус, и рыбацкое судно с высоким, загнутым кверху носом, чем-то напоминающее древнегреческий корабль, беззвучно вошло в устье реки<sup>4</sup>. Тоска одиночества, смирение с незначительностью и темнотой всего земного под этим бездонным небом, рядом с этим фосфоресцирующим бескрайним морем рождало таинственность, сжимающую душу тисками...

Высокий крепкий мужчина стоял на берегу, широко расставив ноги, вдыхая налетавший порывами ветер, – усталый от работы, от сидения за письменным столом, от расчетов, связанных с выведением из оборота медных полушек (решение вопроса мелких монет было поручено ему Генерал-губернатором под личную ответственность как важная задача). Этот крупный и крепкий мужчина, практичный, здравомыслящий и решительный из-за долгого пребывания на властных должностях, возможно, не чувствовал темной таинственности, витавшей над яванским вечерним городом – столицей области, находящейся в его ведении, – но он испытывал потребность в нежности. Он смутно ощущал потребность в детских руках, обнимающих его за шею, в высоких детских голосах вокруг себя, потребность в молодой жене, которая ждала бы его с радостной улыбкой. Он не осознавал в себе этой сентиментальности, не имел обыкновения размышлять о своей персоне: он был всегда слишком занят; его дни были слишком заполнены всевозможными делами, чтобы предаваться тому, что считаешь кратковременными слабостями: мечтам юных лет, которые всю жизнь подавлял. Но хоть он и не позволял себе мечтать, эта потребность ощущалась болью в груди, словно какая-то болезнь нежности, недуг сентиментальности затаились в его во всем остальном совершенно практичной душе высокопоставленного чиновника, любившего свою работу, свою область, с трепетом относившегося к благополучию ее жителей, человека, чья неограниченная власть, соответствовавшая его положению, полностью гармонировала с его властным характером, который вдыхал могучими легкими атмосферу просторного поля деятельности и широкого круга разнообразных забот с тем же наслаждением, с каким сейчас вдыхал вольный ветер с моря. Томление, жажда, тоска переполняли его в тот вечер. Он чувствовал себя одиноким не только из-за отчужденности, всегда окружающей правителей крупных областей, к которым обращаются либо с неискренне-почтительной улыбкой на лице, когда хотят поговорить, либо коротко-деловито-почтительно, чтобы завершить дела. Он чувствовал себя одиноким, хотя был отцом семейства. Он думал о своем большом доме, думал о своей жене и детях. И чувствовал себя одиноким, удерживающимся на плаву только благодаря увлеченности работой. Работа была для него всем в жизни. Она наполняла часы и дни. Размышляя о работе, он засыпал, и утром его первой мыслью были интересы области.

Сейчас, устав от цифр, вдыхая ветер, он вместе со свежестью моря вдыхал и морскую тоску, таинственную тоску индийских морей, призрачную тоску морей близ Явы, тоску, прилетающую издали на шелестящих крыльях таинственности. Но по характеру он был не из

---

<sup>4</sup> Река Гембонг, на которой стоит Пасуран, послуживший Куперусу прообразом для Лабуванги.

тех, кто внимает тайным знакам. Он отрицал мистику. Он считал, что ее нет: есть только море и ветер, свежий ветер. Есть густой морской дух, сочетание запахов рыбы, цветов и водорослей, тяжелый дух, разгоняемый свежим ветром. И есть только миг отдыха, а таинственную тоску, норовящую забраться в его ослабшую – в тот вечер – душу, он чувствует из-за своих домашних, которых хотел бы видеть более близкими, теснее сплоченными вокруг него, отца и супруга. Если он вообще ощущает тоску, то только из-за домашних. Тоска не поднимается из моря, она не приносится ветром с неба. Он не поддастся первому ощущению таинственности... И он еще крепче утвердился обеими ногами на камнях пирса, расправил грудь, высоко поднял свою красивую голову военного и глубоко вдохнул запах моря и ветра...

Старший служитель, сидя на пятках, с горящим факелом в руке, тайком поглядывал снизу вверх на своего господина, словно думал: зачем это он стоит так чудно у маяка... Странные люди эти голландцы... и о чем это он сейчас думает... зачем он здесь... именно в этот час, в этом месте... как раз когда кругом бродят морские духи... Под водой плавают кайманы, а каждый кайман – это дух... А вон там им принесли жертву, бананы, и рис, и вяленое мясо, и крутое яйцо на бамбуковом плоту, у основания маяка... Что же здесь делает *кандженг туан*<sup>5</sup>... Здесь нехорошо, здесь нехорошо... Это может принести несчастье... И пристальный взгляд служителя скользил вверх-вниз по широкой спине его господина, все в той же неподвижной позе смотревшего вдаль. Во что он всматривается? Что он видит на крыльях ветра? Какие странные эти голландцы, какие странные...

Резидент неожиданно развернулся и пошел назад, и служитель, резко вскочив, последовал за ним, раздувая горящий конец своего веревочного факела. Резидент возвращался тем же путем; теперь в клубе сидел какой-то господин, поприветствовавший резидента, да еще несколько молодых людей, одетых в белое, прогуливались по Длинной аллее. Собаки лаяли.

Приближаясь к воротам сада перед своим домом, резидент увидел перед другим входом в сад две белые фигуры, мужчины и девушки, вскоре растаявшие в ночи под сенью баньянов. Он прошел прямо к себе в контору; другой служитель принял от него фуражку и трость. Резидент тотчас же сел за письменный стол. Он может поработать еще час, до ужина.

---

<sup>5</sup> Туан (малайск.) – хозяин, господин.

## II

Зажгли больше огней. Огни зажгли повсюду, только в длинных широких галереях было почти темно. На дворе и в доме горело не менее двадцати, тридцати керосиновых светильников, в люстрах и фонарях, но они создавали лишь неясный полусвет, висевший в доме желтым туманом. Потоки лунного сияния заливали сад, выхватывали белизну цветочных горшков, играли в пруду, и кроны баньянов вырисовывались на фоне светлого неба мягким бархатом.

Первый гонг, звавший на ужин, уже прозвучал. В передней галерее на кресле-качалке туда-сюда качался юноша, сложив замком руки за головой, скучая. По средней галерее, точно выжидая время, брела, напевая, девушка. Дом был обставлен так, как это принято в резидентских дворцах в провинции: пышно и неоригинально. Мраморный пол передней галереи сверкал отполированной белизной, точно зеркало, между колоннами стояли пальмы в кадках, кресла-качалки окружали мраморные столы. В первой внутренней галерее, параллельной передней галерее, вдоль стены стояли стулья, словно постоянно готовые к приему гостей. В самом конце второй внутренней галереи, вытянувшейся от передней части дома к задней, там, где она расширялась, на золотом карнизе висела гигантская портьера из красного атласа. Белые простенки между дверьми, ведущими в комнаты, были украшены либо зеркалами в золотых рамах, стоящими на мраморных консолях, либо литографиями – как здесь говорили, «картинами»: Ван Дейк на коне, Паоло Веронезе на ступенях венецианского палаццо, где его принимает дож, Шекспир при дворе Елизаветы, Торквато Тассо при дворе герцога д'Эсте. В самом большом простенке в раме с королевской короной висела большая гравюра: портрет королевы Вильгельмины в королевском облачении. Посередине средней галереи стояла красная атласная оттоманка, увенчанная пальмой. А также многочисленные стулья и столы, и везде люстры. Все содержалось в аккуратности, во всем была помпезная заурядность, словно в ожидании очередного официального приема, и ни одного укромного уголка. В полусвете керосиновых ламп – в каждой люстре горело по одной – длинные, широкие галереи лежали, охваченные пустой скукой.

Пробил второй гонг. На задней галерее слишком длинный стол – словно постоянно ожидающий гостей – был накрыт на три персоны. *Спен*<sup>6</sup> и шестеро мальчиков стояли в ожидании у сервировочных столиков и двух буфетов. *Спен* уже начал разливать суп по тарелкам, а двое из мальчиков ставили их на стол, на сложенные салфетки, лежавшие на тарелках. Затем вся прислуга погрузилась в ожидание; от супа в тарелках поднимался пар. Еще один мальчик наполнил три стакана водой с большими кусками льда.

Девушка подошла ближе, напевая. Ей было, наверное, лет семнадцать, и внешностью она походила на свою разведенную мать – первую жену резидента, красивую полукровку<sup>7</sup>, которая теперь жила в Батавии и, как поговаривали, держала там тайный игорный дом. У девушки был оливково-бледный цвет лица, иногда с легким румянцем, как у персика, черные волосы, естественно вьющиеся у висков и собранные на затылке в большой тяжелый узел; черные зрачки сверкали в окружении влажной голубоватой белизны, обрамленной черными ресницами, трепетавшими вверх-вниз, вверх-вниз. У нее был маленький, довольно пухлый рот, над верхней губой темнел легкий пушок. При небольшом росте тело ее уже приобрело округлые формы – роза, поспешившая расцвести. Одета она была в пикейную юбку и белую полотняную блузку

<sup>6</sup> Спен (малайск.) – старший слуга, обслуживающий за столом, дворецкий.

<sup>7</sup> В Нидерландской Индии, в отличие от Британской Индии, были широко распространены смешанные браки. Это отмечает живший в то время (с 1894 по 1899 г.) на Яве российский консул М. М. Бакунин: «Если так будет продолжаться <...>, то в Нидерландской Ост-Индии более половины голландского населения станет голландским только по имени и составит новую смешанную расу метисов». (М. М. Бакунин. Тропическая Голландия. Пять лет на острове Ява. М., 2007. С. 30).

с кружевной вставкой, шею украшала ярко-желтая лента, чрезвычайно идущая к оливковой бледности ее лица, которое порой румянилось, словно заливаясь краской.

Юноша из передней галереи тоже неспешно подошел к столу. Он был похож на отца, высокий, широкоплечий, светловолосый, с густыми, соломенного цвета усами. Ему было от силы двадцать три года, но выглядел он лет на пять старше. Одет он был в костюм из русского полотна, однако, при воротничке и галстук.

Последним пришел сам ван Аудейк; его решительные шаги быстро приближались, как будто ему некогда, как будто он сейчас пришел ужинать, лишь ненадолго прервав работу. Все трое сели за стол, ни слова не говоря, и принялись за суп.

– В котором часу завтра приезжает *мама*? – спросил Тео.

– В полдвенадцатого, – ответил ван Аудейк и добавил, обращаясь к своему главному слуге, стоявшему у него за спиной: – Карио, не забудь, что завтра в полдвенадцатого надо будет встретить госпожу.

– Да, *кандженг*, – прошептал Карио.

Обедающих обнесли рыбным блюдом.

– Додди, – спросил ван Аудейк, – с кем это ты сегодня стояла у ворот?

Додди, с удивлением, медленно повела на отца глазами с искорками в зрачках.

– У... ворот? – неторопливо переспросила она, с сильным малайским акцентом.

– Да.

– У... ворот? Ни с кем... Может быть, с Тео.

– Ты был у ворот со своей сестрой? – спросил ван Аудейк.

Юноша нахмурил свои густые светлые брови.

– Возможно... не знаю... не помню...

Все трое смолкли. Они спешили закончить ужин, сучая за столом. Пятеро, шестеро слуг в белых курточках с красной окантовкой беззвучно сновали вокруг них. Был подан бифштекс с салатом, пудинг и фрукты.

– Вечно бифштекс... – проворчал Тео.

– Ох уж эта кухарка! – рассмеялась Додди своим горловым смехом. – Когда *мамы* нет дома, она всегда готовит бифштексы. Ей безразлично, что готовить, когда *мамы* нет дома. Не пытается выдумывать... Ужас...

Они поужинали за двадцать минут, и ван Аудейк вернулся к себе в кабинет. Додди с Тео медленно пошли в сторону передней галереи.

– Как скучно... – зевнула Додди. – Может, сыграем в бильярд?

В первой внутренней галерее, за атласной портьерой, стоял небольшой бильярдный стол.

– Давай, – сказал Тео.

Они принялись за игру.

– Почему я должен был стоять с тобой у ворот?

– А... да ладно тебе! – сказала Додди.

– Так почему же?

– *Папа* не должен знать.

– С кем же ты была? С Адди?

– Конечно! – сказала Додди. – Сегодня будет концерт в городском парке?

– По-моему, да.

– Пошли на него вместе?

– Нет, мне неохота.

– Почему?

– Неохота.

– Ну пожалуйста!

– Нет.

– А с мамой... с мамой ты бы пошел, да? – сказала Додди рассерженно. – Я знаю. С мамой ты всегда ходишь на концерт в парке.

– Больно много ты знаешь... малявка!

– Больно много знаю? – рассмеялась Додди. – Уж что знаю, то знаю.

– Ну-ну! – поддразнил ее Тео, прицеливаясь, чтобы сделать карамболь. – А ты, значит, с Адди, ну-ну!

– А ты с мамой, ну-ну!

Тео пожал плечами.

– Ты с ума сошла, – сказал он.

– От меня можешь не скрывать! Хотя об этом и так все болтают.

– Ну и пусть себе болтают.

– Ужас!

– Да ну тебя!

Тео в гневе швырнул кий на пол и пошел в переднюю галерею. Сестра последовала за ним.

– Послушай, Тео... не сердись. Пошли вместе на концерт.

– Нет.

– Я ничего не буду говорить, – упрашивала она его.

Она боялась, что Тео так и не простит ее, и тогда у нее вообще не останется никого и ничего и она совсем умрет со скуки.

– Я пообещала Адди, но я же не могу пойти одна...

– Ладно, но только если ты больше не будешь нести чушь.

– Обещаю! Милый Тео, да, идем...

Она уже вышла в сад.

На пороге конторы, дверь которой никогда не закрывалась, но отгороженной от внутренней галереи большой ширмой, показался ван Аудейк.

– Додди! – позвал он.

– Что, *papa*?

– Ты сможешь к маминому приезду поставить у нее в комнате цветы?

В его голосе слышалось смущение, глаза мелко моргали.

Додди сдержала смех.

– Хорошо, *pa*... Поставлю.

– Куда ты собралась?

– Вместе с Тео... на концерт в парке.

Ван Аудейк покраснел от гнева.

– На концерт? А у меня спросить не надо? – вскричал он, неожиданно придя в ярость.

Додди надула губки.

– Я не люблю, когда ты куда-то уходишь, а я об этом не знаю. Сегодня перед ужином ты тоже куда-то исчезла, когда я хотел с тобой погулять!

– Не сердись! – сказала Додди и расплакалась.

– Иди, если хочешь, – сказал ван Аудейк, – но впредь изволь сначала спросить у меня.

– Мне уже расхотелось! – плакала Додди. – Не сердись! Сегодня без концерта.

Издали, из парка у клуба «Конкордия», донеслись первые ноты.

Ван Аудейк вернулся в контору. Додди с Тео запрыгнули на два кресла-качалки в передней галерее и стали качаться как бешеные, скользя полозьями кресел по гладкому мрамору.

– Ладно тебе, – сказал Тео. – Идем. Тебя ведь ждет Адди.

– Нет, – сказала она обиженно. – Теперь уже все равно. Завтра скажу Адди, что *papa* злока. Мешает мне радоваться. И вообще... я не поставлю цветов в мамину комнату!

Тео усмехнулся.

– Надо же, – прошептала Додди. – Ох уж этот *papa*. Так влюблен... Он даже покраснел, когда просил меня поставить цветы.

Тео снова усмехнулся и принялся подпевать доносящейся издалека музыке.

### III

На следующее утро Тео в полдвенадцатого отправился в ландо встречать свою мачеху на вокзале.

Ван Аудейк, который в это время суток обычно занимался судопроизводством, ни о чем не говорил с сыном, но увидев из окна конторы, как тот садится в экипаж и уезжает со двора, нашел это очень милым с его стороны. Когда Тео был малышом, отец обожал его, когда сын чуть подрос, стал его баловать, а с Тео-юношей у отца нередко происходили стычки, но все равно отцовская любовь то и дело вспыхивала ярким пламенем. Сейчас он любил Тео больше, чем Додди, которая в то утро все еще дулась на него и не поставила цветы в комнату его жены, так что пришлось отдать приказ насчет цветов Карио. Ван Аудейку стало жаль, что он уже несколько дней не говорил Тео ни одного доброго слова, и он решил обязательно восполнить этот пробел. Юноша был очень капризен: за три года он успел поработать по крайней мере на пяти кофейных плантациях, а сейчас снова остался без дела и болтался по дому, дожидаясь, чтобы подвернулось что-нибудь другое.

На вокзале Тео прождал несколько минут, прежде чем прибыл поезд из Сурабаи. Он тотчас увидел меффрау ван Аудейк с ее служанкой Урип и двумя маленькими мальчиками, Рене и Рикусом, которые, в отличие от него, были совсем темненькими; меффрау ван Аудейк привезла их из Батавии на летние каникулы.

Тео помог мачехе выйти из поезда, начальник станции почтительно поприветствовал жену своего резидента. Она кивнула ему в ответ с улыбкой, словно благожелательная королева. С этой же улыбкой, чуть-чуть двусмысленной, позволила пасынку поцеловать ее в щеку. Это была высокая женщина, светлокожая, светловолосая, лет тридцати с небольшим, в ней была та томная статность, которая свойственна уроженкам Нидерландской Индии, чьи родители чистые европейцы. В ней было что-то, заставлявшее мужчин тотчас поднять на нее глаза. Дело было в ее белой коже с молочным оттенком, очень светлых волосах, глазах, необычно серых, иногда чуть прищуренных и всегда с двусмысленным выражением. Дело было в ее неизменной улыбке, иногда милой и обаятельной, но часто невыносимой, отталкивающей. При первой встрече было непонятно, скрывается ли что-то за этим взглядом, какая-то глубина, какая-то душа, или это не более чем взгляд и улыбка, то и другое с оттенком двусмысленности. Однако вскоре люди замечали ее безразличие, выжидательное, улыбающееся, словно ее ничто не волновало, словно ей все было все равно, даже если бы небо разверзлось у нее над головой: как будто она, улыбаясь, ждала этого. Ходила она всегда неспешно. Сейчас на ней была розовая пикейная юбка и болеро, белая атласная лента на талии и белая, с атласным бантом, соломенная шляпка. Ее летний дорожный костюм отличался строгостью по сравнению с нарядом нескольких других дам на перроне, вышагивавших в накрахмаленных и глаженных бебе<sup>8</sup>, напоминавших ночные рубашки, и в тюлевых шляпках с перьями! В ее полностью европейском облике только медлительная походка, эта томная статность была единственной черточкой, отличавшей ее от женщин, недавно прибывших из Голландии. Тео предложил ей руку, и она позволила проводить себя к ландо – «к экипажу» – в то время как два темнокожих братишки шли за ними следом. Она отсутствовала дома два месяца. Начальника станции она одарила кивком головы и улыбкой, кучера и конюшего наградила взглядом и с томной медлительностью и неизменной улыбкой – белокожая восточная царица – села в ландо. Трое пасынков сели с ней вместе, служанка поехала следом, в отдельной повозке. Меффрау ван Аудейк посмотрела в окошко экипажа и отметила про себя, что в Лабуванги все выглядит точно так же, как раньше. Но ничего не сказала. Медленно вернулась в прежнюю позу и откинулась на спинку сиденья. В

---

<sup>8</sup> Бебе (малайск.) – длинное широкое платье, которое носят обычно дома.

ее фигуре читалась некая удовлетворенность, но в еще большей мере – сияющее и смеющееся безразличие, словно ей все нипочем, словно она находится под защитой неведомой власти. В этой женщине была какая-то сила, какое-то могущество, проистекавшее из безразличия, она казалась неуязвимой. Она выглядела так, будто жизнь не властна над ней – ни над внешностью, ни над душой. Она выглядела так, будто неспособна страдать, казалось, она улыбается оттого, что для нее не существует ни болезней, ни мук, ни бедности, ни несчастий. ореол сверкающего эгоизма окружал ее. И все же она обычно была мила. Она очаровывала, она пленяла окружающих своей красотой. Эта женщина, излучавшая удовлетворенность самой собой, была любима, какие бы ни шли о ней пересуды. Говоря, смеясь, она обезоруживала вас, более того, она вас покоряла. Это происходило вопреки, а возможно и благодаря ее безмерному безразличию. Ее занимало исключительно ее собственное тело и ее собственная душа, все прочее, все-все прочее было ей глубоко безразлично. Неспособная поделить своей душой, она никогда не любила никого, кроме себя, но улыбалась при этом столь гармонично и пленительно, что все находили ее прелестной, восхитительной. Дело было, наверное, в линии ее щеки, в таинственной двусмысленности взгляда, в ее вечной улыбке, в грации тела, мелодичности голоса и в точности ее речей. Если собеседник находил ее невыносимой, она не замечала этого и была особенно пленительной. Если собеседник ей завидовал, она не замечала этого и хвалила в нем – интуитивно, сама того не замечая, ибо ее это вовсе не волновало, – именно то, что он считал в себе недостатком. Она могла, глазом не моргнув, сказать, что восхищена туалетом, казавшимся ей уродливым, да и потом, просто от безразличия, оставалась, не кривя душой, при этом же мнении. В полном безразличии и заключалась ее жизненная сила. Она привыкла делать все, что хотела, но делала это с улыбкой на устах, и о чем бы ни судачили у нее за спиной, всегда оставалась настолько корректной, настолько очаровательной, что ей все прощалось. Ее недолюбливали, пока не видели, но едва она появлялась, как тотчас завоевывала все сердца. Муж боготворил ее, падчерица и пасынки – собственных детей у нее не было – невольно, вопреки собственному желанию, не могли не любить ее, слуги находились под ее обаянием. Она никогда не повышала голоса, лишь коротко отдавала приказы – и они выполнялись. Если что-то происходило не так, если что-то билось или ломалось, то улыбка сбегала с ее губ... и все. Если же под угрозой оказывалось ее собственное тело или ее собственная душа, она умела отвести эту угрозу и все уладить себе на благо, так что улыбке сбегать с губ было просто незачем. Ее собственные интересы настолько концентрировались вокруг собственной персоны, что ей удавалось быть хозяйкой обстоятельств. Казалось, никакой рок не тяготел над этой женщиной. Ее безразличие было блистательным, полностью безразличным, лишенным какого бы то ни было презрения, какой бы то ни было зависти, каких бы то ни было эмоций; ее безразличие было просто-напросто безразличием. И тот такт, с которым она инстинктивно, без лишних раздумий шла по жизни, оставаясь ее хозяйкой, был столь велик, что даже лишись она всего, что у нее было – например, красоты, положения в обществе, – она все равно осталась бы безразличной в своем неумении страдать.

Экипаж въехал во двор резидентского дворца как раз в то время, когда начались судебные слушания. Яванский полицейский – старший *джакса*<sup>9</sup> – уже находился в конторе ван Аудейка: *джакса* и полицейские надзиратели привели толпу подсудимых – провинившиеся в чем-то яванцы держали друг друга за краешек рубашки и шли гуськом, мелко семеня, но несколько женщин среди них держались отдельно. В тени баньяна, на некотором расстоянии от ступеней, ведущих в контору, все сели на пятки в ожидании. Один из служителей, услышав бой часов в передней галерее, ударил в большой колокол перед сторожкой: полпервого. Громкий бронзовый звук еще долго дрожал в полуденной палящей жаре. Но ван Аудейк слышал, как ландо подъехало к дому, и заставил старшего *джаксу* дожидаться: он пошел встретить жену. Лицо у

<sup>9</sup> Джакса (малайск.) – полицейский из яванцев.

него прояснилось, он поцеловал ее нежно и экспансивно, спросил, как она поживает. Он был рад опять увидеться с мальчиками. И вспомнив, о чем размышлял после отъезда Тео на станцию, сказал ласковое слово и старшему сыну. Додди, все еще обиженно надувая губки, поцеловала *маму*. Леони давала им целовать себя, покорно подставляя щеку, с улыбкой, и спокойно целовала всех в ответ, без холода и без тепла, делая именно то, что требовалось. Ее муж, Тео и Додди открыто восхищались ею, говорили, что она превосходно выглядит. Додди спросила, откуда у *мамы* такой хорошенький дорожный костюм? У себя в комнате Леони увидела цветы и, зная, что ван Аудейк придает этому значение, погладила мужа по плечу.

Резидент вернулся к себе в контору, где его ждал старший *джакса*; начался допрос. Подталкиваемые полицейскими обвиняемые, один за другим, выходили вперед и опускались на пятки на ступенях, перед порогом конторы, в то время как *джакса* сидел на пятках на циновке, а резидент за письменным столом. Пока разбиралось первое дело, ван Аудейк еще прислушивался к голосу своей жены в средней галерее, в то время как обвиняемый защищался, громко выкрикивая:

– Бот`н! Бот`н!<sup>10</sup>

Резидент нахмурил брови и внимательно прислушался. Голоса в средней галерее смолкли. Мефрау ван Аудейк ушла переодеться, чтобы надеть саронг<sup>11</sup> и кабай<sup>12</sup> к рисовому столу. Она носила эту одежду кокетливо: саронг, какие носят в Соло, прозрачный кабай, драгоценные пряжки, белые кожаные туфельки с маленькими белыми бантиками. Она как раз была готова в тот миг, когда к ее двери подошла Додди и сказала:

– *Мама, мама...* к вам пришла мефрау ван Дус!

Улыбка на губах Леони на миг угасла, нежные глаза потемнели...

– Сейчас приду, дитя мое...

Но вместо этого села в кресло, и Урип, служанка, попрыскала духами на ее носовой платок. Мефрау ван Аудейк вытянулась и ненадолго забылась в истоме после дороги. Лабуванги казался ей безнадежно скучным местом после Батавии, где она прогостила два месяца у знакомых и родственников, свободная, избавленная от всех обязанностей. Здесь, как жене резидента, ей приходилось выполнять кое-какие функции, хотя большую их часть она перекладывала на жену секретаря. В глубине души Леони была усталой, недовольной, нерадостной. Несмотря на полное безразличие, в ней было достаточно человеческого, чтобы иногда испытывать тихие приступы дурного настроения, когда она проклинала все на свете. И тогда ей хотелось совершить какое-то безрассудство, смутно хотелось уехать куда-нибудь... в Париж... Но она никогда и никому этого не покажет. Она умеет держать себя в руках. И сейчас она тоже возьмет себя в руки, прежде чем выйдет на люди. Смутные вакхические желания слились с истомой. Она устроилась в кресле поудобнее, погрузилась в мысли, прикрыв глаза. В ее сверхчеловеческое равнодушие иногда вплетались странные фантазии, глубоко сокрытые от мира. Ей больше всего нравилось жить у себя в комнате этой воображаемой жизнью в ароматах парфюма, особенно сейчас, после нескольких недель в Батавии... После нескольких недель сомнительных развлечений она испытывала потребность сидеть, погрузившись в блуждающие розовые фантазии, вившиеся и клубившиеся перед ее прищуренными глазами. В ее иссушенной душе эти фантазии были точно сказочное цветение лазоревых цветочков, что она взращивала с тем единственным чувством, на которое была способна. Она не любила ни одного человека на свете, но любила эти цветочки. Вот так сидеть-мечтать ей нравилось безумно. Кем бы

<sup>10</sup> Бот`н (малайск.) – Нет!

<sup>11</sup> Саронг (малайск.) – традиционная мужская и женская одежда, представляет собой полосу цветной хлопчатобумажной ткани, которая обертывается вокруг пояса (или середины груди – у женщин) и прикрывает нижнюю часть тела до щиколоток, наподобие длинной юбки.

<sup>12</sup> Кабай (малайск.) – легкая рубашка навывпуск как у женщин, так и у мужчин.

она хотела быть, если бы можно было выбирать... Фантазия клубилась: Леони видела белый дворец и множество купидонов...

– Мама... Ну где же вы? Пришла мефрау ван Дус, мефрау ван Дус с двумя баночками...

Это Додди снова подошла к двери ее комнаты. Леони ван Аудейк поднялась с кресла и проследовала в заднюю галерею, где в ожидании сидела темнокожая дама, жена почтового служащего. Она держала коров и продавала молоко, но потихоньку занималась еще и другой торговлей. Это была полная дама, с довольно светлым лицом и сильно выдающимся животом. На ней был надет очень простой кабай с узкой полоской кружева по краю; пухленькие ручки поглаживали живот. На столе перед ней стояли две баночки с чем-то блестящим внутри. Что это за сахар, что за кристаллы, смутно подумала мефрау ван Аудейк, а потом внезапно вспомнила... Мефрау ван Дус выразила радость по поводу возвращения Леони. Два месяца отсутствия в Лабуванги. Ужас, мефрау ван Аудейк, не правда ли? И она указала на баночки. Мефрау ван Аудейк улыбнулась. Что же в них?

Мефрау ван Дус приложила свой пухлый, загибающийся кверху указательный пальчик, на котором совсем не выделялись суставы, к одной из склянок и сказала шепотом:

– Интен-интен!<sup>13</sup>

– Правда? – спросила мефрау ван Аудейк.

Додди, округлив глаза, и Тео с любопытством загляделись на склянки.

– Да... Вы же знаете, они принадлежат той даме, я говорила вам о ней... Она просила не называть ее имя. Увы, раньше ее муж был большой человек, а теперь... Она так несчастлива, у нее ничего не осталось. Все распродано. Остались только эти две склянки. Все свои украшения она разобрала и камни хранит здесь. Все сосчитано. Она доверяет мне продать их. Благодаря молоку у меня есть связи. Вот посмотрите, мефрау ван Аудейк, посмотрите! Прекрасные камни! Резидент, он их купит для вас, раз вы вернулись. Додди, принеси-ка черную ткань, вроде бархата, это лучше всего...

Додди с помощью швеи нашла лоскут черного бархата в шкафчике, где лежало всевозможное шитье. Мальчик-слуга принес стаканы с тамариндовым сиропом и льдом. Мефрау ван Дус, держа в пухлых пальчиках щипчики, осторожно положила несколько камушков на бархат...

– Да! – воскликнула она. – Посмотрите, какой они чистой воды! Вввве-ликолепные!

Мефрау ван Аудейк пригляделась. Улыбнулась очаровательной улыбкой и потом сказала тихим голосом:

– Этот камень фальшивый, милочка.

– Фальшивый? – вскричала мефрау ван Дус. – Фальшивый?

Мефрау ван Аудейк посмотрела на другие камни.

– И эти другие... – она пристально наклонилась к ним и затем сказала как можно более нежно: – Эти другие... тоже... фальшивые...

Мефрау ван Дус заглянула ей в лицо с радостью. Потом сказала, обращаясь к Додди и Тео, весело:

– Ох уж ваша *мама*... востра! Сразу все видит!

И громко рассмеялась. Засмеялись и все остальные. Мефрау ван Дус сложила кристаллы обратно в склянку.

– Это была шутка, мефрау. Я просто хотела проверить, насколько вы разбираетесь. Поверьте моему слову: я бы вам ни за что не стала их продавать... А вот эти... смотрите!

И на этот раз торжественно, почти с религиозным пиететом она открыла другую склянку, где было всего несколько камешков; и эти она любовно выложила на черный бархат.

<sup>13</sup> Интен-интен (малайск.) – алмазы.

– Эти великолепны... для леонтина, – сказала мефрау ван Аудейк, любуясь удивительно крупным бриллиантом.

– А я вам что говорила? – спросила темнокожая дама.

И они залюбовались бриллиантами, настоящими, из «настоящей» склянки, и осторожно рассматривали их на просвет.

Мефрау ван Аудейк видела, что они настоящие.

– Но у меня правда нет денег, милая мефрау! – сказала она.

– Этот большой... для леонтина... всего за шестьсот гульденов... Очень выгодно, уверяю вас, мефрау!

– Ах нет, милочка, нет, никогда в жизни!

– За сколько же? Если вы его купите, то потом не пожалеете. Увы, ее муж раньше был большой человек. Член Совета Нидерландской Индии.

– Двести...

– Да вы что! Двести!

– Двести пятьдесят, и не больше. У меня правда нет денег.

– Но резидент... – прошептала мефрау ван Дус, заметив ван Аудейка, который после окончания судебного заседания пришел в заднюю галерею. – Резидент... он для вас купит!

Мефрау ван Аудейк улыбнулась и взглянула на искрящуюся каплю света на черном бархате. Она любила драгоценности и к брильянтам была неравнодушна.

И она подняла глаза на мужа.

– Мефрау ван Дус показывает нам столько всего красивого, – сказала она, ласкаясь.

Ван Аудейк почувствовал, как в груди у него кольнуло. Ему всегда было неприятно видеть мефрау ван Дус в своем доме. Она вечно что-то продавала: то разукрашенные батиком покрывала, в другой раз тканые туфельки, в третий раз великолепные, но очень дорогие скатерти из батика с изображением золотых цветов на желтом блестящем фоне... Мефрау ван Дус постоянно приносила что-то на продажу, постоянно имела сношения с женами прежних «больших людей», которым помогала что-то продавать за очень высокий процент. Утренний визит мефрау ван Дус всякий раз обходился ему минимум в несколько рейксдальдеров, а нередко и в пятьдесят гульденов, потому что его жена, сохраняя полное спокойствие, всегда покупала ненужные ей вещи, не утруждаясь, в своем безразличии, противиться утренней гостье. Резидент не сразу заметил склянки, но тотчас увидел искрящуюся каплю на черном бархате и понял, что стоимость этого визита не ограничится пятьюдесятью гульденами, если он не сумеет проявить великую стойкость.

– Голубушка! – испугался он. – Сейчас конец месяца, о покупке бриллиантов сегодня и речи быть не может! Да еще целыми банкками! – воскликнул он в испуге, увидев, как они сверкают на столе, среди стаканов с тамариндовым сиропом.

– Ох уж этот резидент! – рассмеялась мефрау ван Дус с таким оттенком, как будто у резидента всегда есть деньги.

Ван Аудейк ненавидел этот смех. На домашние расходы уходило всегда на несколько сот гульденов больше, чем был его оклад, и он расходовал накопления, влезал в долги. Его жена не вникала в денежные проблемы, отгораживаясь от них безразличной улыбкой.

Она чуть повернула брильянт, и камень испустил яркий голубой луч.

– Он великолепен... за двести пятьдесят.

– Хотя бы за триста, милая дама...

– За триста? – мечтательно произнесла Леони, играя драгоценностью.

За триста или за двести пятьдесят – ей было все равно. Это ее совсем не задевало. Но камень ей понравился, и она уже решила приобрести его за любые деньги. Поэтому она невозмутимо положила его обратно и сказала:

– Нет, милочка, честное слово... Брильянт слишком дорогой, а у моего мужа нет денег.

Она сказала это с такой нежностью, что догадаться о ее замысле было невозможно.

Произнося эти слова, она была очаровательна в своей жертвенности. Ван Аудейк во второй раз почувствовал, как кольнуло в груди. Он ни в чем не мог отказать жене.

– Мефрау, – сказал он, – оставьте камень здесь... за триста гульденов. Но бога ради заберите свои баночки.

Мефрау ван Дус подняла торжествующий взор.

– Ну что я говорила! Я точно знаю, ваш муж, резидент, что угодно для вас купит!

Мефрау ван Аудейк взглянула на мужа с упреком.

– Ах, Отто! – сказала она. – Это же невозможно!

– Но тебе же нравится этот камень?

– Он великолепен... Но столько денег! За один брильянт!

И она взяла мужа за руку, притянула к себе и подставила лоб для поцелуя, и он поцеловал ее за то, что она разрешила ему купить брильянт за триста гульденов. Додди с Тео подмигнули друг другу.

## IV

Леони ван Аудейк всегда наслаждалась сиестой. Она спала совсем немножко, но ей безумно нравилось провести часок-другой после рисового стола в своей прохладной комнате, до пяти часов, до полшестого... Она немножко читала, в основном журналы и прочую ерунду, но по большей части ничего не делала и мечтала. Смутные фантазии витали в голубой дымке ее послеполуденного одиночества. Никто не знал о них, и она держала их в глубоком секрете, как тайный грех, как порок. Она скорее могла бы открыть миру свои любовные связи. Романы ее никогда не были долгими, они не были чем-то значимым в ее жизни, она никогда не писала писем, и те милости, которые она дарила некоторым, не давали им никаких преимуществ в дневных разговорах. Ей была присуща холодная корректная порочность как в физическом, так и в нравственном смысле. Ибо ее фантазии, хоть и с поэтичной ноткой, были порочны. Ее любимым автором был Катюль Мендес<sup>14</sup>; ей по душе были все эти цветочки сентиментальной лазури, все эти розовые купидоны искусственности, отставленный мизинчик, изящные ножки – и в этом антураже – мотивы испорченности, темы сбившейся с дороги страсти. В спальне у нее висело несколько картин – возлежащая на постели с кружевами молодая женщина, которую целуют два резвящихся ангелочка, и вторая: лев со стрелой в груди у ног улыбающейся девы; и еще большой плакат – реклама духов: нимфа цветов, с которой стаскивают ее покров игривые парфюмерные херувимчики. Эта картинка нравилась ей больше всех, она не могла представить ничего более красивого. Она знала, что картинка чудовищна, но не могла заставить себя снять это безобразие с крючка, хотя все косились на него с недоумением: знакомые, ее дети, которые заходили в комнату без церемоний, что нередко в Нидерландской Индии, где из занятия собственным туалетом не делается тайны. Она могла подолгу смотреть на эту картинку, зачарованно; нимфа казалась ей прелестной, и ее собственные фантазии походили на это изображение. И еще она хранила коробку из-под конфет со слащавым изображением женщины на крышке: тип красоты, нравившийся ей еще больше, чем ее собственная: румянец на щеках, под копной невероятно золотых волос – карие глаза, как у брюнетки, кружева едва прикрывают грудь. Она никогда не признавалась в этих пристрастиях, о смехотворности которых догадывалась, она никогда не разговаривала об этих картинах и коробках именно потому, что знала, насколько они уродливы. Но ей они нравились, чудо как нравились, она считала их искусством и поэзией.

То были самые сладостные часы.

Здесь, в Лабуванги, она не решалась на то, чему предавалась в Батавии, и здесь почти никто не верил слухам, ходившим о ней в Батавии. Но мефрау ван Дус уверяла, что тот-то резидент и такой-то инспектор – один просто путешествуя, второй совершая объезд области по долгу службы, – гостившие по несколько дней в доме ван Аудейка, нашли в послеполуденные часы – во время сиесты – дорогу в спальню Леони. Но в Лабуванги подобные реальные события были лишь редкими интермеццо между розовыми видениями, в которые мефрау ван Аудейк погружалась в часы сиесты...

Но сегодня было похоже...

Сегодня было похоже, будто она, недолго подремав и отдохнув, так что вялость после дороги и жары как рукой сняло с ее молочно-белой кожи, будто она, глядя на резвящихся ангелочков на рекламе духов, думала не об этой розово-кукольной нежности, а прислушивалась к чему-то на улице.

На ней был надет только саронг, который она пропустила под мышками и перевязала узлом на груди.

---

<sup>14</sup> Катюль Мендес (1841–1909) – французский поэт, представитель Парнасской школы, автор эротических поэм и романов.

Ее красивые светлые волосы были распущены.

Красивые беленькие ножки босы, она даже не сунула их в тапочки.

Она смотрела сквозь жалюзи на улицу.

Сквозь растения в горшках, стоявшие на боковой лестнице дома и закрывавшие ее окна густой листвой, ей был виден флигель с четырьмя комнатами для гостей, одну из которых занимал Тео.

Она довольно долго смотрела сквозь щелочку, а потом раздвинула жалюзи пошире...

И увидела, что жалюзи в комнате Тео тоже раздвинулись...

Она улыбнулась, потуже завязала саронг и снова легла в кровать.

Она прислушивалась.

Мгновенье спустя она услышала, как скрипнул гравий под ботинком. Ее двери с жалюзи были прикрыты, но не заперты. Чья-то рука осторожно открыла их...

Она обернулась с улыбкой...

– Что такое, Тео? – прошептала она.

Он подошел ближе, на нем были спальные брюки и *кабай*. Он сел на край кровати и стал играть ее белыми, пухлыми ладонями, а потом вдруг принялся целовать ее, как безумный.

В этот миг в комнату со свистом влетел камешек.

Они оба испугались, подняли глаза, разом вскочили и теперь стояли посреди комнаты.

– Кто его кинул? – спросила она, дрожа.

– Может быть, один из малышей, играющих в саду, Рене или Рикус, – ответил он.

– Они еще не встали...

– Может быть, что-то упало сверху...

– Нет, камешек бросили явно нарочно...

– Нередко бывает, что камешек отламывается от стены...

– Но это кусочек гравия.

Она подняла камешек. Он осторожно выглянул в окно.

– Чепуха, Леони. Он точно свалился сверху, из водосточного желоба, и попал в окно. А потом подпрыгнул. Чепуха...

– Я боюсь... – пролепетала она.

Он рассмеялся почти в голос и спросил:

– Чего ты боишься?

Бояться было и правда нечего. Комната находилась между будуаром Леони и двумя большими комнатами для гостей, где останавливались только резиденты, генералы и другие высокопоставленные особы. Комнаты ван Аудейка – контора и спальня, комната Додди и комната мальчиков, Рене с Рикусом, располагались с другой стороны от средней галереи. Так что в своем крыле дома Леони была в стороне от всего, между двумя комнатами для гостей. И потому наглела. В этот час во дворе никого не было. Впрочем, слуг она не боялась. Урип можно было полностью доверять, она часто получала красивые подарки: саронги, золотые застёжки, длинную алмазную заколку для кабая, которую носила на груди как серебряную плакетку с камнями. Поскольку Леони никогда не выказывала недовольства, была щедра в авансах, досрочных выплатах и на первый взгляд имела легкий характер – хотя на самом деле все и всегда делалось только так, как она хотела, – ее любили, и пусть слуги знали о ней немало, они еще ни разу ее не предали. От этого она наглела еще больше. Проход между спальней и будуаром был завешен портьерой; с Тео они договорились раз и навсегда, что при малейшей опасности тот спокойно юркнет за портьеру и выйдет из будуара в сад, где будет якобы любоваться розами в горшках, стоящих на ступеньках лестницы. И тогда будет казаться, что он только что вышел из своей собственной комнаты и рассматривает розы. Внутренние двери будуара и спальни были, как правило, закрыты, потому что Леони честно говорила, что не любит неожиданных посетителей.

Она любила Тео за его свежую молодость. И здесь, в Лабуванги, он был ее единственным грехом – не считая проезжего инспектора и розовых ангелочков. Сейчас Леони и Тео вели себя как проказливые дети, тихонько смеялись в объятиях друг друга. Но об осторожности забывать нельзя. Уже пробило четыре часа, и в саду она слышала голоса Рене с Рикусом. На время каникул мальчики завладели садом полностью. Одному из них было тринадцать, другому четырнадцать, и они наслаждались огромной территорией. Разгуливали повсюду в хлопчатобумажных полосатых матросках и брюках, босиком, бегали смотреть лошадей, голубей, они дразнили какаду, принадлежащего Додди, который прыгал по крыше пристройки. У них была ручная белка. Они охотились на гекконов-токи, в которых пуляли из своего сумпитана<sup>15</sup>, к большому неудовольствию слуг, ведь токи приносят счастье. Через ограду сада они покупали у китайца-разносчика жареный арахис, а потом передразнивали его, изображая его акцент:

– Жаленый алахис! Чина-чина!

Они залезали на огненное дерево<sup>16</sup> и висели на ветках, как обезьянки. Бросались камнями в кошек, дразнили соседских собак, пока те не хрипли от лая и не прокусывали друг другу уши. Мальчики возились с водой в пруду, пачкались с головы до пят в земле и грязи и норовили сорвать гигантские листья виктории регии, что было им строго запрещено. Они проверяли, какой груз могут выдержать листья этих гигантских кувшинок, напоминающие огромные подносы, и пытались залезть на них, но в итоге оказывались в воде... И еще они брали пустые бутылки, ставили в ряд и бросались в них галькой, пытаясь сбить. Они выуживали бамбуковой палкой из канавы рядом с домом всякие плававшие там безымянные предметы и швырялись друг в друга. Их фантазия была неисчерпаема, и час сиесты был их часом. Сегодня они поймали геккона-токи и кошку и пытались друг с другом сравнить: токи открыл свою крокодилию пасть и силился загипнотизировать кошку, которая ретировалась, чтобы скрыться от взгляда этих черных бусин, выгнув спину, ошетилившись от страха. Потом мальчики наелись незрелых манго до рези в животе.

Леони с Тео наблюдали через жалюзи за битвой кошки с токи и видели, как мальчики уселись на траву, чтобы перекусить незрелыми манго. Но это был час, когда приговоренные к наказанию – двенадцать человек – работали на дворе, под присмотром старого, солидного надсмотрщика-туземца со стеклом в руке. Они наполняли водой бочки и лейки, сделанные из банок из-под керосина, а иногда и сами банки, и поливали растения, траву, гравий. Потом они с громким звуком подметали двор метлами из кокосовой пальмы.

Обглоданными манговыми косточками Рене с Рикусом кидались за спиной у надсмотрщика, которого боялись, в работавших, корча рожи и гримасничая. Во двор вышла и Додди, выпавшаяся, она играла со своим какаду, сидевшим у нее на руке, кричавшим «тактак! тактактак!» и быстро крутившим головой с поднятым желтым хохолком.

Тео скользнул за портьеру, в будуар, и, улучив миг, когда мальчики гонялись друг за другом, швыряясь плодами манго, а Додди шла к пруду плавной походкой с характерным для полукровок покачиванием бедер, с какаду на руке, вышел на улицу, под прикрытием растений, наклонился к розам, чтобы вдохнуть их аромат, сделав вид, будто решил пройтись по саду, прежде чем принять ванну.

---

<sup>15</sup> Сумпитан (малайск.) – длинная трубка, используемая как оружие.

<sup>16</sup> Огненное дерево – делбникс королёвский (лат. *Delonix regia*).

## V

Ван Аудейк пребывал в более приподнятом настроении, чем в последние несколько недель: в его дом после двух месяцев унылой скуки, казалось, вернулся дух семейной жизни. Он с радостью смотрел на своих шустрых младших сыновей, игравших в саду, как бы они ни безобразничали, но главное, был счастлив, что вернулась жена.

Сейчас они сидели в саду, в неглиже, и пили чай, в полшестого. Как ни странно, Леони сумела мгновенно наполнить весь большой дом каким-то веселым спокойствием, потому что сама любила комфорт. Обычно ван Аудейк быстро выпивал свой стакан чая, который Карио приносил ему в спальню, но сегодня не спешил, а наслаждался часом вечернего чаепития. Соломенные стулья и шезлонги стояли на улице, перед домом, на соломенном столе блеснул чайный поднос, были поданы обжаренные на решетке бананы, и Леони, в японском кимоно из красного шелка, с красивыми распущенными волосами, лежала в соломенном кресле, играя с какаду Додди, угощая его печеньем. Как быстро все изменилось, размышлял ван Аудейк, вот его жена, приветливая, милая, красивая, время от времени о чем-то рассказывающая – о знакомых в Батавии, о скачках в Бейтензорге, о губернаторском бале, об итальянской опере; младшие сыновья, веселые, здоровые, оживленные, пусть и перепачканные после своих игр... И он подозвал их к себе, и шутя побоксировал с ними, и расспросил о школе – оба учились во втором классе гимназии. Да и Додди с Тео казались ему не такими, как прежде: Додди, хорошенькая, сейчас рвала розы с кустов в горшках, мурлыча себе под нос, Тео был как никогда разговорчив с *мамой* и даже с ним. Усы ван Аудейка выражали удовольствие. Лицо выглядело помолодевшим, сейчас никто не дал бы ему его сорока восьми. Взгляд его отличался остротой и живостью, порой он быстро поднимал глаза и заглядывал, казалось, в самую душу. Он был крупного телосложения и склонен к полноте, но в его фигуре еще читалась военная выправка и прежняя подвижность, в служебных поездках он был неутомим и славился как отличный наездник. Большой и сильный, довольный своим домом и семьей, он излучал приятно-надежную мужественность, и усы его радостно топорщились.

Не сдерживая себя, вытянувшись в соломенном шезлонге, с чашкой чая в руке, он сейчас высказывал те мысли, которые посещали его в подобные часы тихой радости. Да, жизнь совсем неплоха, здесь, в Индии, при Колониальной администрации. По крайней мере у него всегда все шло совсем неплохо, но ему в свое время повезло. Теперь подняться по карьерной лестнице – дело безнадежное, он знает несколько ассистент-резидентов – его сверстников, которым до сих пор не удалось стать резидентами. Это ужасно – так долго оставаться в должности, подразумевающей повиновение ближайшему начальнику, в таком возрасте все еще только выполнять распоряжения резидента. Он сам не смог бы этого выдержать, в сорок восемь лет! Но быть резидентом; отдавать приказы, самостоятельно управлять целой областью, да еще такой большой и важной, как Лабуванги, с хорошо разработанными кофейными плантациями, с множеством сахарных заводов, с бесчисленными сдаваемыми в наследственную аренду земельными участками – это наслаждение, это жизнь: жизнь огромная и просторная, как никакая другая, с которой не сравнится никакая служба и никакая работа в Голландии. Для его властной натуры лежащая на нем гигантская ответственность – радость. Работа у него была разнообразная: то в конторе, то в разъездах, да и круг рабочих интересов был весьма разнообразен, дремать за письменным столом некогда: после бумаг в помещении – выходы на природу, всегда что-то новое, всегда новые впечатления. Через полтора года он надеется дорасти до резидента первого класса, если только освободится место в большей области, соответствующей первому классу: в Батавии, Семаранге, Сурабае, или в одном из княжеств. Но ему жалко будет покинуть Лабуванги. Он привязан к своей области, для которой за пять лет так много сделал, которая за эти пять лет расцвела настолько, насколько только возможен расцвет в наше время экономического

спада, когда колонии беднеют, местное население нищает, на кофейных плантациях дело идет хуже, чем когда-либо, а сахарное производство года через два вступит в глубочайший кризис... Вся страна сейчас чахнет, и даже в восточных областях с их промышленным производством грядут спад и бессилие, и все же для Лабуванги он сумел сделать немало. За годы его деятельности здесь выросло благосостояние населения, он наладил ирригацию рисовых полей, потому что сумел благодаря своему такту привлечь к работе инженера, который прежде был на ножах с Колониальной администрацией. Проложено множество железных дорог для паровиков. И секретарь, и его ассистент-резиденты, и все его контролеры преданы ему, хотя работать под его началом приходится немало. Но разговаривает он с ними всегда уважительно, хотя приходится немало работать. Он умеет быть общительным и приветливым, хоть он и резидент. Он рад, что все они, его контролеры и ассистент-резиденты, принадлежат к тому здоровому, жизнерадостному типу чиновников Колониальной администрации, которые довольны своей жизнью и работой, хотя чтобы продвинуться по служебной лестнице им и приходится теперь куда больше, чем раньше, вчитываться в Правительственный альманах и в Табель о рангах. Ван Аудейк охотно сравнивал своих подчиненных с чиновниками судебного ведомства, не принадлежавшими к жизнерадостному типу: между теми и другими всегда существовало легкое соперничество, конкуренция, вечный спор... Да, это чудесная жизнь, чудесная работа, все прекрасно, все прекрасно. Нет ничего лучше, чем работать в Колониальной администрации. Только вот жаль, что отношения с регентом<sup>17</sup> сложились у него не слишком хорошие. Но это не его, ван Аудейка, вина. Он всегда безукоризненно точно выплачивает регенту причитающееся тому жалованье, не притесняет его в правах, поддерживает его авторитет в глазах местного населения и даже в глазах чиновников-европейцев. Ах, как жаль, что умер старый *пангеран*<sup>18</sup>, отец нынешнего регента, прежний регент, который был благородным и цивилизованным яванцем. С ним сразу же сложились хорошие отношения, его расположение ван Аудейк сумел завоевать своим тактом. Ведь когда он пять лет назад впервые приехал в Лабуванги, чтобы принять здесь бразды правления, он пригласил *пангерана* – этого истинного яванского аристократа – занять место в экипаже рядом с собой, а не ехать следом в другом, как то было принято; ведь оказав почет пожилому яванскому князю, он тотчас завоевал сердца всех туземных начальников и чиновников, польстив им в их уважении и любви к регенту, потомку рода Адинингратов – одного из старейших аристократических семейств на Яве: во времена правления Ост-Индской компании они были султанами Мадуры. Но до нынешнего регента, Сунарио, сына *пангерана*, достучаться не удастся, в этом ван Аудейк признавался только самому себе; Сунарио остается для него загадкой, этакой куклой театра теней, как называл его про себя ван Аудейк: всегда напряженный, не идущий на взаимодействие с ним, резидентом, как будто этот принц крови смотрит на голландского бюргера сверху вниз; но при этом такой фанатик! Совершенно не интересуется жизнью своего народа, весь ушел в суеверия, в фанатичную религиозную созерцательность. Ван Аудейк никому в этом не признается, но в регенте есть что-то неуловимое... Он не понимает, как этого человека – с его изящной фигурой, пристальными угольно-черными глазами – можно привлечь к участию в практической жизни, что легко удавалось в случае старого *пангерана*. Тот был для ван Аудейка, учитывая возраст, отцом и другом, учитывая служебное положение – «младшим братом», но в любом случае – правителем в своей области. А Сунарио видится ему каким-то ненастоящим, не регентом, не служащим в Администрации, а только фанатичным яванцем, который окутывает себя чем-то таинственным; какая все это чушь, размышлял ван Аудейк. Ему смешна репутация Сунарио как человека, осененного «святостью»,

<sup>17</sup> Регент (нид.) – представитель яванской знати, принятый на службу нидерландской колониальной администрацией. Резидент опирался на регента в управлении местным населением.

<sup>18</sup> Пангеран (яванск.) – высокий дворянский титул на Яве.

каким он слывет среди местного населения. По его мнению, Сунарио непригоден к практической жизни, это яванец-дегенерат, чокнутый яванский денди!

Но этот разлад с нынешним регентом – просто несходство характеров, а на практике все в порядке, ван Аудейку всегда удается обвести его вокруг пальца! – остается единственной сложностью, над которой резидент в годы службы в Лабуванги ломает голову. И свою жизнь в качестве резидента Лабуванги он ни за что не променяет ни на какую другую! Ах, он уже сейчас переживал, представляя себе, чем будет заниматься после выхода на пенсию. Он надеется как можно дольше оставаться на службе – как член Совета Нидерландской Индии, вице-президент Совета... О чем он не говорит вслух, но мечтает – это в отдаленном будущем занять пост генерал-губернатора. Но Голландию нынче охватила мания назначать на важнейшие должности людей со стороны – голландцев, ничего не знающих о Нидерландской Индии, – вместо того чтобы следовать старому доброму принципу выбирать людей из опытных чиновников, прошедших всю служебную лестницу начиная с младшего контролера и потому знающих всю должностную иерархию как свои пять пальцев... М-да, что же он будет делать на пенсии? Жить в Ницце? Без денег? Ведь копить не получается. Жизнь прекрасна, но дорога, и, вместо того чтобы копить деньги, он влезает в долги. Ну да ладно, расплатимся, но в будущем... Будущее после выхода на пенсию отнюдь не было радужной перспективой. Коптить небо в Гааге, в маленькой квартирке, коктейль в клубе Де Витте или Безонье – бррр... При одной мысли дрожь пробирает. Лучше не думать, ван Аудейк вообще не хотел думать о будущем, может быть, он раньше умрет. Но сейчас все чудесно – его работа, дом, Ява. С этим ничто не сравнится.

Леони слушала его с улыбкой, она знала его молчаливую увлеченность, его влюбленность в собственную работу – как она это называла, «преклонение перед Колониальной администрацией». Пускай, она ничего не имеет против. Она тоже ценит эту роскошь – то, что ее муж – резидент. Относительная изолированность от внешнего мира ее не пугает, она вполне самодостаточна... И она отвечала мужу улыбкой, довольная, очаровательная, с молочно-белой кожей, припудренной рисовой пудрой и казавшейся еще белее по контрасту с красным шелком кимоно, прекрасной в обрамлении светлых волн ее волос.

Утром, на миг, ей стало тоскливо, после Батавии Лабуванги удручил ее атмосферой провинциальной скуки, царящей в этом городке. Но после того как она купила бриллиант, после того как вновь обрела Тео... Его комната находилась рядом с ее. И ему, наверное, еще долго не удастся найти подходящее место работы.

Вот каковы были ее мысли, пока муж, только что изливший ей душу, лежал в своем шезлонге и блаженно размышлял. Глубже она не заглядывала, она бы крайне удивилась, если бы заметила в себе что-то вроде угрызений совести, к такому она неспособна... Постепенно начало смеркаться, взошла светлая луна, и позади бархатных крон баньянов, позади покачивающихся кокосовых пальм, празднично устремлявших ввысь свои плюмажи из темных страусовых перьев, последний солнечный свет отбрасывал на небосклон золотистый свет, на фоне которого пышные баньяны и грациозные пальмы вырисовывались черным оттиском гравировальной доски.

Вдали слышались монотонные звуки гамелана<sup>19</sup>, заунывные, словно издаваемые прозрачным стеклянным роялем, с то и дело прорывающимися глубокими диссонансами...

---

<sup>19</sup> Гамелан (яванск.) – традиционный индонезийский оркестр и вид инструментального музицирования.

## VI

Ван Аудейк, радуясь жене и детям, захотел прокатиться в экипаже, так что в ландо впрягли лошадей. Его лицо под широким золотым галуном фуражки сияло приветливым довольным выражением. Леони, рядом с ним, была одета в новое сиреневое платье из муслина, купленное в Батавии, и шляпу с сиреневыми маками. Дамская шляпа вдали от столицы – это роскошь, это подчеркнутая элегантность, и Додди, сидевшая напротив, по-здешнему без шляпы, сердилась про себя: *мама* могла бы и предупредить ее, что собирается «использовать» шляпу, как Додди называла это на своем ломаном голландском языке. А теперь она так проигрывает рядом с *мамой*, эти покачивающиеся маки просто невыносимы! Из мальчиков с ними поехал Рене, в чистом белом костюмчике. Старший служитель сидел на козлах рядом с возницей и держал, прижимая основание палки к ноге, большой золотой зонт-пайонг – символ власти. Был уже седьмой час, начинало темнеть, над Лабуванги повисла та бархатная тишина, та трагическая таинственность, какая бывает при наступлении сумерек в период восточного муссона. Порой лаяла собака, ворковал лесной голубь, нарушая эту неестественную, точно в необитаемом городе, тишину. Но сейчас среди всеобщего молчания стучали колеса ландо, удары копыт разрывали безмолвие на мелкие кусочки. Встречных экипажей не попадалось, неодушевленное безлюдье околдовало сады и галереи. Двое молодых людей в белом, совершавшие прогулку, сняли шляпы. Экипаж покинул аллеи с богатыми домами и въехал в китайский район, где в маленьких магазинчиках уже зажигались огни. Торговля почти закончилась: китайцы отдыхали во всевозможных непринужденных позах, подняв вверх и скрестив ноги, подложив руки под голову, распустив свои косички или обмотав их вокруг головы. При приближении экипажа они поднимались на ноги и принимали почтительные позы. Яванцы, в большинстве своем воспитанные и знающие этикет, садились на пятки. Вдоль дороги, освещенные керосиновыми лампами, теперь были расставлены в ряд переносные кухни, рядом с ними сутились продавцы всевозможных напитков, торговцы выпечкой. В вечерней мгле, озаренной бесчисленным множеством огоньков, все цвета казались грязновато-пестрыми; китайские магазинчики, переполненные товарами, исписаны красными и золотыми иероглифами, обклеены красными и золотыми бумажками с надписями; на заднем плане домашний алтарь со священным изображением: белый бог, сидящий, а за ним усмехающийся черный бог. Но улица расширилась и внезапно обрела более представительный облик; богатые китайские дома, похожие на виллы, белели по сторонам; особенно поражал воображение светлый дворец китайца, сказочно разбогатевшего на опиуме еще до введения монополии на этот продукт: белый дворец, украшенный изящной лепниной, с бесчисленными пристройками, с парадными дверьми в переднюю галерею, выполненными в монументальном китайском стиле с его изысканным изяществом, в золотистой цветовой гамме. За этими открытыми дверьми в глубине дома виднелся огромный домашний алтарь с ярко освещенным изображением богов. Сад с прихотливыми извилистыми дорожками был уставлен прямоугольными горшками и продолговатыми цветочными вазами, покрытыми темно-синей и зеленой глазурью, в которых росли ценные породы карликовых растений – такие передаются по наследству от отца к сыну. И все содержалось в сверкающей чистоте, в заботливой аккуратности каждой детали: дорогая, идеально ухоженная роскошь опиумного миллионера-китайца. Но не все китайские дома были так же гордо выставлены напоказ: большинство домов прятались в садах за высокими каменными оградами, запертые, и укрывались в тайне своей домашней жизни. Внезапно дома закончились, вдоль широкой дороги потянулись китайские могилы, богатые могилы: травянистый холм со сложным из камней входом – дверь смерти, а верхней части придана символическая форма женского органа – дверь жизни; вокруг просторная травянистая лужайка, к досаде ван Аудейка, подсчитывавшего, сколько земли, пригодной для земледелия, пропадает напрасно из-за могил

богатых китайцев. И китайцы, казалось, торжествовали – как в жизни, так и в смерти – в этом тихом, окутанном тайной городке, китайцы сообщали ему что-то от своего характера – свою подвижность, торговую жилку, стремление к богатству, свое умение жить и умирать... Потому что когда ландо въехало в арабский район – дома такие же, как везде, но мрачные, лишённые стиля, благосостояние и сама жизнь прячутся за закрытыми дверьми, в передней галерее стоят стулья, а хозяин дома сидит на пятках, хмурый, и неподвижными черными глазами провожает экипаж, – эта часть города показалась еще более трагически-таинственной, чем фешенебельная часть Лабуванги. Казалось, именно отсюда по всему городу, словно пушинки, разлетается невыразимая словами мистерия, словно частички ислама, словно именно ислам сгустил сумерки фатальной тоски в этот содрогающийся, беззвучный вечер... Они не чувствовали всего этого в своем экипаже, постукивавшем на ходу, они, с детства привыкшие к здешней атмосфере и уже невосприимчивые к мрачной тайне, подобной приближению черной силы, которая всегда, всю жизнь опаляла своим дыханием их – властителей со смешанной кровью, – чтобы они о ней не догадывались. Возможно, когда ван Аудейк читал в газетах о панисламизме, он и улавливал веяние этой черной силы и мрачная тайна приоткрывалась перед его внутренним взором. Но сейчас, катаясь с женой и детьми в постукивающем экипаже, под цокот копыт его сиднейских лошадей, когда на козлах сидел слуга, держа в руках сложенный пайонг, сверкающий, точно солнце, он чувствовал себя слишком самим собой – сильный, самовластный человек, – чтобы замечать признаки черной тайны, признаки черной опасности. И главное – ему было сейчас слишком хорошо, чтобы ощущать или видеть что-либо меланхоличное. В своем оптимизме он даже не замечал, что город, который он так любит, приходит в запустение, его не тронули стоявшие на пути их следования огромные виллы с колоннами – свидетели былого благоденствия плантаторов, теперь пустующие, заброшенные, среди одичавших садов; одну из них заняла лесоторговая компания, поселившая здесь своего сторожа и складировавшая бревна в саду перед домом. Грустно белели заброшенные дома с портиками и колоннами, призрачные среди разросшихся садов в лунном свете, точно храмы злого рока... Но они этого не видели; наслаждаясь покачиванием экипажа на мягких рессорах, Леони задремала с улыбкой на губах, а Додди всматривалась в темноту, когда они снова ехали по Длинной Аллее, надеясь увидеть Адди...

## Глава вторая

### I

Секретарь Онно Элдерсма был всегда очень занят. Почта каждый день доставляла в центральное бюро области Лабуванги, где работали двое старших клерков, шестеро младших клерков и несколько туземных писарей и конторских служащих, в среднем по несколько сот писем и документов, и резидент выказывал неудовольствие, если корреспонденция обрабатывалась с задержкой. Сам он работал не покладая рук и требовал от подчиненных того же. Но иногда депеши, запросы и распоряжения обрушивались сплошным потоком. Элдерсма принадлежал к типу служащих, работавших с полной отдачей, и Элдерсма всегда был очень занят. Он работал утром, днем, вечером. Сиесты у него не было. В четыре часа он быстро съедал свою порцию за рисовым столом, затем коротко отдыхал. К счастью, у него был сильный организм, он был бодрым уроженцем Фрисландии. Но всю его кровь, все мускулы и нервы потребляла работа. То, что он делал, нельзя было назвать простой писаниной и бумагомарательством, это была тяжелая физическая работа, с пером в качестве инструмента. Работа для мышц, для нервов, и работе этой не было конца. Элдерсма сгорал на службе, отдавал себя всего. У него не осталось больше никаких мыслей, он стал только чиновником, только тружеником письменного стола. У него был чудесный дом, чудеснейшая, необыкновенная жена, милый ребенок. Но с ними он почти не виделся, хоть и жил у себя дома. Он лишь работал и работал, скрупулезно, доводя до конца все, что только мог. Иногда он говорил резиденту, что не способен делать еще больше. Но здесь ван Ауйдейк был безжалостен и неумолим. Он сам когда-то работал секретарем административной области, он знал, что это значит. Это значит – тянуть лямку, работать, как лошадь. Это значит – жить, есть, спать с пером в руке. И ван Аудейк отдавал секретарю распоряжение завершить еще вот эту и вот эту работу. И Элдерсма, только что говоривший, что не способен уже работать, выполнял распоряжение и тем самым всегда делал чуть больше того, на что считал себя способным.

И тогда его жена Ева говорила: мой муж уже не человек, мой муж – уже не муж, мой муж – всего лишь служащий. Эта молодая женщина, стопроцентная европейка, никогда раньше не бывавшая в Нидерландской Индии, прожившая уже несколько лет в Лабуванги, прежде даже не предполагала, что можно работать столько, сколько работал ее муж, в стране, где так жарко, как в Лабуванги во время восточного муссона. Поначалу она сопротивлялась, пыталась заявлять о своих правах на мужа, но, увидев, что у него и правда нет ни минуты свободной, отказалась от своих прав. Она быстро поняла, что муж не будет ее спутником жизни, а она – его спутницей, и не потому, что он не был хорошим мужем, нежно любящим свою жену, а только потому, что почта ежедневно доставляла по две сотни писем и депеш. Она быстро поняла, что в Лабуванги, где не было никакой общественной жизни, ей придется искать утешение в своем доме, а потом в своем ребенке. Она обустроила свой дом как храм искусства и уюта, и много думала о воспитании сынишки. Это была высокоразвитая женщина с художественным вкусом, происходившая из художественной среды. Ее отцом был ван Хуве, наш знаменитый пейзажист, матерью была Стелла Кубер, наша знаменитая певица. Ева, выросшая в доме, наполненном духом искусства и музыки, который она впитывала начиная с первых книжек с картинками и первых песенок, – Ева вышла замуж за чиновника в Нидерландской Индии и поехала вместе с ним в Лабуванги. Она любила своего мужа, энергичного фризского парня, при этом обладающего достаточным развитием, чтобы многим интересоваться. И она уехала, счастливая в своей любви, полная иллюзий о Востоке, о тропической восточной культуре. Она надеялась сохранить свои иллюзии, сколько ни предупреждали ее о трудностях. Уже в Син-

гапуре ее восхитила бронзовость обнаженных малайцев и пестрый ориентализм китайских и арабских районов, поэзия хризантем в японских чайных домах. Но в Батавии на ее ожидание видеть на Востоке только красоту, только романтику «Тысячи и одной ночи», серым дождем пролилось разочарование. Обычаи здешней повседневной жизни охладили ее стремление восхищаться, и она увидела комичную сторону. В гостинице, где они жили, мужчины-европейцы носили пижамные брюки и кабай, они лежали, вытянувшись в шезлонгах, с босыми – правда, прекрасно ухоженными – ногами, и непринужденно шевелили пальцами ног, играя большими пальцами и мизинчиками, даже когда она проходила мимо... Дамы одевались в саронг и кабай: это единственная удобная одежда для утра, которую можно легко менять – два, три раза за утро, но которая очень мало кому идет: прямоугольный силуэт дамы в саронге особенно уродлив сзади, как бы элегантны ни были ее украшения. Однообразие домов с покрытыми известью стенами и уродливыми рядами цветочных горшков, иссохшая природа и грязные туземцы... В среде европейцев Ева замечала мелкие смехотворные детали: малайский акцент с характерными междометиями, провинциальную чванливость чиновников – например, цилиндр разрешалось носить только членам Совета Нидерландской Индии, строгую размеренность этикета – по окончании приема первым уходит самый высокопоставленный чиновник, и только потом остальные... И разные мелочи, характерные для жизни в тропиках: то, что упаковочные ящики и банки из-под керосина потом использовались в самых разнообразных целях – из досок от ящиков мастерили оконные рамы в магазинчиках, самодельную мебель и емкости для мусора, из керосинных банок делали водосточные желоба, лейки и прочую домашнюю утварь... Молодая, умная женщина, полная иллюзий в духе «Тысячи и одной ночи», на первых порах не отличала проявлений колониализма – привычек европейцев, старающихся прижиться в стране, враждебной их природе, – от истинно поэтического, истинно восточного, чисто яванского. Из-за множества смехотворных мелочей быта Ева сразу же испытала разочарование, какое испытывает любой человек художественного склада в колониальной стране, которая вовсе не художественна и не поэтична, где ради роз в белых горшках садовник добросовестно собирает как можно больше лошадиного навоза в качестве удобрения, так что при дуновении ветерка запах роз смешивается с запахом свежеразведенного навоза. И как любой человек, только что приехавший из Голландии, стала относиться несправедливо к этой красивейшей стране, которую голландцы хотят видеть такой, какой воображали по книжкам, и которая неприятно удивляет их смехотворными деталями колониализма. И Ева забыла, что сама страна, эта изначально столь прекрасная страна, не виновата в таких смехотворных мелочах.

Она прожила здесь два года и не переставала удивляться: то пугалась, то приходила в ужас, то смеялась, то сердилась, и в конце концов благодаря своему природному благоразумию – и практической основе своей художественной души – привыкла. Она привыкла к игре пальцами ног, к навозу у роз, она привыкла к своему мужу, который уже был не человеком и не мужем, а только служащим Колониальной администрации. До этого она много страдала, писала отчаянные письма, мучилась от ностальгии по родительскому дому, однажды чуть было не уехала в Голландию, просто так, внезапно – но не сделала этого, чтобы не бросать мужа одного, – и она привыкла, она приспособилась. Кроме артистической души – на рояле она играла великолепно! – у нее было сердце доброй и смелой женщины. Она продолжала любить мужа и знала, что благодаря ей у него есть уютный дом. Она серьезно относилась к воспитанию сына. А привыкнув, она стала справедливее и вдруг увидела на Яве много красивого, оценила грациозную величавость кокосовых пальм, изысканный райский вкус местных плодов, роскошь цветущих деревьев, она увидела величавое благородство природы, гармоничность горных силуэтов, сказочность лесов из гигантских папоротников, бездонность пугающих кратеров, отражающие небо террасы залитых водой рисовых полей с нежной зеленью молодых побегов риса, и откровением для ее художественного мироощущения стал характер яванцев: их изящество, грация, их приветствия и танцы, истинная аристократичность представителей

древнейших дворянских родов, которые с гибкой дипломатичностью приспособились к современности и, от природы почитающие иерархию, смиряются с игом европейских властителей, чьи золотые галуны вызывают у них благоговение.

В отцовском доме Ева видела вокруг себя служение искусству и красоте на грани декадентства; внимание девушки, окруженной только красивыми предметами, красивыми словами, музыкой, было направлено исключительно на эстетизм жизни, возможно, даже чересчур на один лишь эстетизм. Теперь же оказалось, что она слишком хорошо натренирована в этой школе красоты, чтобы замкнуться в своем разочаровании и видеть только мел и смолу домов, мелкие причуды чиновников, упаковочные ящики и конский навоз. Ее литературный дух уловил в этих домах атмосферу дворцов, а в чиновничьем высокомерии некий архетип, и во все эти детали она всмотрелась внимательнее и увидела весь мир Нидерландской Индии в широком диапазоне, и одно откровение последовало за другим. Но при этом она постоянно чувствовала что-то чуждое, что-то, чего не могла понять умом, какую-то мистику, темную тайну, звеневшую в воздухе по ночам... Но она решила, что это лишь ощущение темноты в густой листве; это напоминало тихую музыку неведомых струнных инструментов, минорный шелест арфы вдали, неясный голос, предупреждающий об опасности... Не более чем шорох в ночи, который она поэтизировала.

В Лабуванги – небольшом городке, центре административной области – она часто удивляла тех, кто привык к здешней жизни, своей восторженностью, увлеченностью, естественностью, радостью жизни – пусть даже в колонии, – умением наслаждаться красотой жизни, ибо обладала здоровой натурой, слегка приглушенной и припрятанной под очаровательным притворством – стремлением только лишь к красоте, к красоте линий, красоте цветов, к художественному образу мыслей. Знавшие ее относились к ней либо с неприязнью, либо с любовью, и лишь немногие оставались равнодушны. На Яве она приобрела репутацию оригиналки: дом ее был особенный, и одевалась она особенно, и сына воспитывала по-особому, обычным был только ее муж-фриз, пожалуй, даже слишком обычным в доме, словно вырезанном из журнала по искусству. Поскольку она любила находиться в веселой компании, она собрала вокруг себя европейцев, в чью жизнь – хоть они и не были артистичны – добавляла какой-то приятный оттенок, что-то, что напоминало о Голландии. Этот кружок, этот маленький клуб восхищался ею и придерживался той тональности, которую она задавала. Как человек более высокоразвитый, она царил в нем, хотя по природе не была властной. Многим это не нравилось, другие называли ее эксцентричной, однако ее кружок оставался ей верен, пробужденный ею от вялости колониальной жизни, вновь способный слушать концерты, мыслить, радоваться бытию.

Так, рядом с ней были доктор с женой, главный инженер с женой, районный контролер с женой, иногда к ним присоединялись люди, приезжавшие из других мест, несколько контролеров, несколько молодых голландцев с сахарных фабрик. Это и была ее веселая компания, в которой она царил, с которой ставила театральные спектакли, устраивала пикники, которую она очаровывала своим домом, своими платьями и эпикурейским артистизмом своей жизни. Они прощали ей все то, чего не понимали – ее эстетизм, музыку Вагнера, – потому что она дарила им веселье и немного радости жизни в мертвенности здешнего существования. За это они были благодарны ей всей душой. Так и получилось, что ее дом стал центром светской жизни Лабуванги, а резидентский дом, расположенный напротив, ничуть не роняя своего достоинства, отступил в тень баньянов. Леони ван Аудейк не ревновала. Она ценила свой покой и охотно предоставляла Еве задавать тон в светской жизни. Сама Леони не интересовалась ни праздниками, ни музыкальным, ни театральным обществом, ни благотворительностью; все эти общественные обязанности, обычно лежащие на жене резидента, она переложила на плечи Евы. Раз в месяц Леони устраивала приемы, на которых приветливо со всеми разговаривала и всем улыбалась, а на Новый год давала ежегодный бал. Этим и ограничивалась общественная жизнь в резидентском дворце. В остальное время Леони руководилась только эгоизмом, жила

в свое удовольствие, в розовых мечтах об ангелочках и выпадающих на ее долю любовных утех. Время от времени, с некой регулярностью, ей требовалось бывать в Батавии, куда она и уезжала на несколько месяцев. Так она, жена резидента, и жила собственной жизнью, а Ева делала все, и Ева задавала тон. Правда, иногда у некоторых дам вспыхивала ревность к Еве, например у жены инспектора финансов, считавшей, что после меффрау ван Аудейк следующее место принадлежит ей, а не жене секретаря. И еще время от времени возникали сложности из-за яванского чиновничьего этикета и по области Лабуванги распространялись всевозможные сплетни, преувеличенные, раздутые, доходившие до самых дальних сахарных фабрик. Но Ева не обращала внимания на эти сплетни и думала только о том, как разнообразить общественную жизнь в Лабуванги. И чтобы действительно что-то сделать, она царил в своем кружке. Ее избрали президентом театрального общества «Талия», и она согласилась на эту должность при условии, что будет отменен устав общества. Она хотела быть королевой, но без конституции. Ей говорили, что так нельзя, что устав существовал всегда. Но Ева отвечала, что если устав останется, то она отказывается от президентства и лучше будет просто играть в спектаклях. Ей пошли навстречу: устав «Талии» отменили, Ева стала полновластной царицей, сама выбирала пьесы и распределяла роли. И тогда настал расцвет театрального общества: благодаря ее режиссуре все играли так хорошо, что на спектакли, разыгрываемые в «Конкордии», приезжали даже из Сурабаи. Пьесы, выбранные Евой, превосходили по художественным достоинствам все те, что ставились здесь раньше.

И от этого ее любили еще больше – или не любили вовсе. Но она шла дальше и развивала европейскую культурную жизнь в Лабуванги, чтобы не слишком «заплесневеть». И все стремились получить приглашение на ее званые обеды, о которых много говорили – и хорошего, и плохого. Потому что она требовала, чтобы мужчины приходили во фраках, а не в сингапурских курточках, без рубашки. Она требовала фраков и белых галстуков и была в этом неумолима. От дам требовалось декольте, что было по погоде и дамам нравилось. Но бедные мужчины поначалу сопротивлялись, пыхтели, задыхались в жестких воротничках; доктор говорил, что это вредно для здоровья, пожилые гости говорили, что безумие нарушать старые добрые обычаи на Яве...

Но попытнев и позадыхавшись во фраке и высоком воротничке первые несколько раз, все пришли к заключению, что обеды у меффрау Элдерсма восхитительны именно потому, что на них царит настоящая европейская атмосфера.

## II

Ева принимала гостей раз в две недели.

– Честное слово, резидент, это не прием, – оправдывалась она перед ван Аудейком. – Я знаю, что устраивать официальные приемы имеют право только резидент с супругой. Но это, честное слово, не прием. Я и думать не думала так называть свои вечера. Мне просто нравится иметь открытый дом раз в две недели, и мне нравится, когда собираются знакомые... Это ведь не запрещено, правда, резидент, если это не прием в полном смысле слова?

Ван Аудейк улыбнулся своей добродушной улыбкой из-под добродушных военных усов и спросил, уж не смеется ли над ним мефрау Элдерсма. Разумеется, он не возражает, главное, чтобы в Лабуванги были веселые вечера, и театральные постановки, и музыка. Ведь это ее обязанность – заботиться о том, чтобы в Лабуванги не затухала светская жизнь.

Вечера у Евы проходили совершенно по-европейски. А приемы, например, в доме резидента устраивались по местным правилам, в соответствии со старой традицией: дамы сидели на стульях вдоль стен, и мефрау ван Аудейк по очереди подходила к ним, недолго разговаривала с каждой из них стоя, в то время как дамы продолжали сидеть. Тем временем резидент общался в другой галерее с мужчинами. Мужчины нигде не пересекались с женщинами.Guestы обносили крепкими напитками, портвейном и водой со льдом.

У Евы все ходили по всем галереям, присаживались то здесь, то там, и все разговаривали со всеми. Общение происходило не так чинно, как на приеме у резидента, но здесь ощущался шик французских салонов с налетом артистизма. Постепенно дамы взяли в привычку одеваться на вечера у Евы наряднее, чем на приемы у резидента; к Еве они приходили в шляпах, которые в Ост-Индии считались символом элегантности. К счастью, Леони это ничуть не волновало, ее эти тонкости оставляли совершенно безразличной.

Сейчас Леони сидела на софе в средней галерее рядом с *раден-айу*<sup>20</sup>, женой регента. Леони нравился старый обычай, ей нравилось, чтобы все подходило к ней. На собственных приемах ей приходилось постоянно оставаться на ногах, обходя дам на стульях у стены. А тут она могла отдохнуть, посидеть, улыбнуться тем, кто подходил сделать комплимент. Но остальные гости пребывали в непрерывном движении. Ева была одновременно везде.

– Вам здесь нравится? – спросила мефрау ван Дус у Леони, обводя взглядом среднюю галерею, с восхищением глядя на матовые арабески, нарисованные темперой по светло-серой сиене, подобно фрескам, скользя взглядом по панелям из тикового дерева, вырезанным опытным китайским мастером по эскизу из Studio, и бронзовым японским вазам на тиковых пьедесталах: стоявшие в них ветки бамбука и букеты из гигантских цветов отбрасывали тени до самого потолка.

– Причудливо... но очень мило! Странновато... – пробормотала Леони, для которой художественный вкус Евы всегда оставался загадкой.

Уйдя в себя, как в храм эгоизма, она была безразлична к тому, что делали и чувствовали другие, а также как другие обустраивали свои дома. Но в таком доме она не смогла бы жить. Ее литографии – Веронезе, Шекспира и Тассо, она считала их шикарными – нравились ей больше, чем красивые фотокопии с эффектом сепии с картин итальянских мастеров, стоявшие у Евы там и сям на мольбертах. Но больше всего Леони любила свою коробку из-под конфет и рекламу духов с ангелочками.

– Вам нравится это платье? – снова задала вопрос Леони мефрау ван Дус.

– О да, – мило улыбнулась Леони. – Ева очень одаренная, она сама нарисовала эти синие ирисы на китайском шелке...

<sup>20</sup> Раден-айу (яванск.) – титул жены регента.

Она никогда не говорила ничего неприятного, всегда только любезности и с улыбкой. Никогда не злословила, ей было слишком все равно. Сейчас она обратилась к *раден-айу* и поблагодарила ее в учтивых, плавных выражениях за фрукты, которые та ей послала. К ней подошел поговорить регент, и она спросила, как поживают его два маленьких сына. Она говорила по-голландски, а регент и *раден-айу* отвечали ей по-малайски. Регент Лабуванги, *раден адипати*<sup>21</sup> Сурио Сунарио, был еще молод, едва за тридцать, у него было тонкое яванское лицо, напоминавшее высокомерную куклу ваянг<sup>22</sup> с маленькими усиками, кончики которых были тщательно закручены, с поразительно неподвижным взглядом – взглядом человека, постоянно пребывавшего в мистическом трансе, взглядом, буравящим видимую действительность, смотрящим сквозь нее глазами, черными как угли, иногда усталыми и угасшими, иногда горящими огнем – искрами экстаза и фанатизма. Его народ, рабски привязанный к своему регенту, считал его носителем священной тайны, хотя никто никогда ничего особенного от него не слышал. Здесь, в галерее у Евы, в глаза бросалась в первую очередь его кукольность, свойственная яванской знати, и только экстатический взгляд был поразителен. Саронг, обтягивающий его бедра, спереди спускался пучком плоских равномерных складок, расходившихся у пола веером. На нем была белая накрахмаленная рубашка с алмазными пуговицами и небольшой шейный платок синего цвета. Сверху был надет синий полотняный китель – элемент униформы: на золотых пуговицах читалась буква W<sup>23</sup>, увенчанная короной. Он был обут в остроносые черные лакированные туфли на босу ногу, чалма, аккуратно мелкими складками обмотанная вокруг его головы, придавала его тонким чертам какую-то женственность, но черные глаза то и дело вспыхивали искрами мистического экстаза. За сине-золотой пояс сзади, точно посередине спины, был заткнут золотой крис<sup>24</sup>. На тонком изящном пальце сверкал крупный бриллиант, а из кармана кителя свисал на цепочке золотой плетёный портсигар. Говорил он мало, порой казалось, что ему хочется спать, но тут же его загадочные глаза вновь загорались, и что бы ни говорила Леони, он отвечал одним коротким словом «Са-я» – «Да». Он произносил эти два слога с четким свистящим ударением, подчеркнуто вежливо, акцентируя оба слога. И сопровождал эту формулу вежливости коротким автоматическим кивком. *Раден-айу*, сидящая рядом с Леони, отвечала точно так же:

– Са-я... Да...

Но потом она всякий раз улыбалась, нежно и смущенно. Очень молодая, лет восемнадцати. Она была принцессой Соло<sup>25</sup>, и ван Аудейк ее терпеть не мог, потому что она старалась ввести в Лабуванги манеру поведения и манеру речи, принятые в Соло, высокомерно уверенная, что на свете нет ничего столь же изысканного и аристократического, как поведение и речи при дворе Соло. Она использовала придворные слова, которые население Лабуванги не понимало, и она уговорила регента выписать возницу из Соло, носившего принятую там парадную ливрею, парик и фальшивую бороду, на которую здешние жители смотрели с недоумением. Естественный желтоватый цвет ее лица казался светлее из-за легкого слоя рисовой пудры, накладываемого на влажную кожу, брови были подведены черным, в тяжелом узле блестящих волос на затылке сверкали драгоценные заколки и цветок кенанга.<sup>26</sup> На ней был длин-

<sup>21</sup> Раден (яванск.) – титул регента; адипати (яванск.) – один из высших титулов феодальной иерархии на Суматре, Яве и Мадуре, обычно давался наследникам правителя.

<sup>22</sup> «Слово “ваянг” хотя и обозначает театр вообще, но применяется специально к так называемому кожаному или деревянному театру, на сцене которого играют марионетки из буйволовой кожи или деревянные. Первые – плоски и размалеваны красками и золотом, вторые – это рельефные куклы, также выкрашенные в различные краски с золотыми арабесками и самыми причудливыми прическами и головными уборами». (М. М. Бакунин. Указ. соч. С. 90).

<sup>23</sup> По имени нидерландской королевы Вильгельмины (Wilhelmina), годы правления 1890–1948.

<sup>24</sup> Крис – яванский национальный кинжал с характерной асимметричной формой клинка.

<sup>25</sup> В 1745 г. в Соло (современный г. Суракарта, Центральная Ява) переместился двор древних яванских монархов – сусунанов.

<sup>26</sup> То же, что иланг-иланг.

ный каин-паджанг из батика, волочившийся по земле, как было принято в Соло, кабай из красной парчи, отороченный галуном и застегнутый на три пуговицы из драгоценных камней. Два сказочных камня, вставленных в массивную серебряную оправу, висели в ушах. На ногах светлые ажурные чулки и вышитые золотом китайские туфли. Бриллиантовые кольца унизывали тонкие пальчики, в руке она держала веер из белых перьев.

– Са-я... Са-я... – почтительно отвечала она со смущенной улыбкой.

Леони смолкла, устав от беседы. Поговорив с регентом и *раден-айу* об их детях, она не знала, что еще сказать. К ним приблизился ван Аудейк, которого Ева только что провела по своим галереям – там всегда было что посмотреть нового и красивого; регент встал.

– Скажите пожалуйста, регент, – обратился к нему ван Аудейк по-голландски, – как поживает *раден-айу пангеран*?<sup>27</sup>

Это была вдова старого регента, мать Сунарио.

– Прекрасно... спасибо... – пробормотал регент по-малайски. – Но матушка не смогла сегодня прийти... слишком старая... быстро устает.

– Мне надо с вами поговорить, регент!

Регент проследовал за ван Аудейком в переднюю галерею, где никого не было.

– К прискорбию, вынужден вам сообщить, что только что снова получил плохие новости насчет вашего брата, регента Нгадживы... Мне доложили, что на этой неделе он опять играл в азартные игры и проиграл большие суммы. Известно ли вам об этом?

Регент словно замкнулся в своей кукольной неподвижности и молчал. Только глаза его смотрели пристально, словно он видел что-то в дальней дали, глядя сквозь ван Аудейка.

– Известно ли вам об этом, регент?

– Ти-да<sup>28</sup>.

– Я поручаю вам как главе семьи выяснить этот вопрос и проследить за братом. Он играет в карты, он пьет, он позорит ваш род, регент. Если бы старый *пангеран*, ваш отец, узнал, что его младший сын так проживает жизнь, он бы очень глубоко опечалился. Ваш отец с честью носил свое имя. Он был одним из самых мудрых и благородных регентов, когда-либо состоявших на губернаторской службе на Яве, и вы знаете, как мы высоко его ценили. Голландия еще со времен Ост-Индской компании многим обязана вашему роду, всегда остававшемуся ей верным. Очень жаль, регент, что такой древний яванский род, как ваш, столь богатый прекрасными традициями, отстает от этих традиций...

Лицо *радана адипати* Сурио Сунарио залила оливковая бледность. Его мистический взгляд пронзил резидента, он увидел, что и резидент пылает гневом. И регент приглушил искры во взгляде, теперь выразившем сонливую усталость.

– Я думал, резидент, что вы всегда испытывали любовь к моей семье, – пробормотал он почти жалобно.

– И правильно думали, регент. Я очень любил *пангерана*. Я всегда восхищался вашим благородным родом и старался всячески его поддерживать. Я и сейчас хочу его поддерживать, вместе с вами, регент, надеясь, что вы способны видеть не только потусторонний мир, как о вас говорят, но и реальный. Но к вашему брату, регент, я не испытываю любви и при всем желании не могу его уважать. Мне сообщили – и я доверяю моим источникам, – что регент Нгадживы не только проиграл деньги, но также не выплатил в этом месяце положенного оклада главам<sup>29</sup> Нгадживы...

---

<sup>27</sup> Пангеран (яванск.) – высокий дворянский титул на Яве.

<sup>28</sup> Нет.

<sup>29</sup> «Главами» (нид. *hoofden*) назывались местные правители, подчинявшиеся регентам и так же, как регенты, получавшие жалование от нидерландских колониальных властей.

Они пристально посмотрели друг другу в глаза, и спокойный, уверенный взгляд ван Аудейка встретился с мистической искрой в зрачках регента.

– Те, кто сообщил вам это, могут ошибаться...

– Думаю, мне не стали бы делать таких докладов, не будь полной уверенности... Регент, вопрос этот очень деликатный. Повторяю: вы глава рода. Выясните у своего младшего брата, в какой мере он растратил казенные деньги, и как можно скорее наведите порядок. Я предоставляю вам это сделать. Я сам не стану разговаривать с вашим братом, чтобы не унижать члена вашего рода, насколько это в моих силах. Вы должны наставить брата на путь истинный, указать ему на то, что в моих глазах является преступлением, но что вы благодаря вашему престижу старшего брата сумеете исправить. Запретите ему играть в азартные игры и велите совладать с этой страстью. Иначе предвижу печальный поворот событий, так как мне придется представить вашего брата к увольнению. Регент Нгаджива – второй сын *пангерана*, коего я всегда бесконечно уважал, равно как и вашу матушку, *раден-айу пангеран*, которую хотел бы оградить от позора.

– Благодарю вас... – пробормотал Сунарио.

– Обдумайте мои слова хорошенько. Если вы не сумеете призвать своего брата к порядку, не убедите его совладать со страстью и если оклад главам округов не будет выплачен в кратчайшие сроки, тогда мне придется действовать самому. А если и мое предупреждение не поможет... Для вашего брата это будет означать крах. Вы сами знаете: регентов увольняют со службы лишь в виде величайшего исключения, это навлечет позор на ваш род. Посодействуйте мне в том, чтобы оградить от этого род Адинингратов.

– Я обещаю вам... – пробормотал регент.

– Пожмем друг другу руку, регент!

Ван Аудейк пожал тонкие пальцы яванца.

– Могу ли на вас положиться?

– И в жизни, и в смерти...

– Тогда давайте вернемся в зал. И немедленно сообщите мне, как только что-то выясните...

Регент поклонился. На его лице сохранялась оливковая бледность от невысказанного, затаенного гнева, кипевшего с силой вулкана. Глаза, буравившие затылок ван Аудейка, пронзали голландца мистической ненавистью, этого ничтожного голландца, бюргера, христианина, неверного, грязную собаку, который – что бы он ни чувствовал в своей грязной душонке – не имел права прикасаться ни к чему из его мира – к его семье, его отцу, его матери, к древней святости их аристократического рода... пусть они уже несколько веков склоняются под игмом тех, кто оказался сильнее...

### III

– Я рассчитывала, что вы останетесь ужинать, – сказала Ева.

– Спасибо, с удовольствием, – ответили контролер ван Хелдерен с женой.

Прием – ненастоящий прием, как неизменно оправдывалась Ева, – приближался к концу: Ван Аудейки, первые, уже ушли, за ними последовал регент. В доме Элдерсма остались только их ближайшие друзья: доктор Рантцов и старший инженер Дорн де Брёйн с супругами и ван Хелдерены. Они сели в передней галерее, испытывая некоторое облегчение после ухода остальных, и потихоньку качались в креслах-качалках. Подали виски с содовой и лимонады с большими кусками льда.

– Всегда уйма народу у Евы на приемах, – сказала меффрау ван Хелдерен. – Больше, чем в прошлый раз у резидента...

Ида ван Хелдерен была из числа светлокожих полукровок. Она старалась вести себя как европейка, говорить на хорошем голландском языке; она даже притворялась, что не понимает по-малайски и не любит ни традиционного риса, ни руджака<sup>30</sup>. Она была мала ростом и пухленькая, у нее были очень светлый, даже бледный цвет лица и большие черные глаза, в которых всегда читалось удивление. Ее переполняли какие-то мелкие таинственные причуды, антипатии, привязанности, эти чувства вспыхивали непонятно отчего, без видимой причины. Иногда она ненавидела Еву, иногда обожала. Она была непредсказуема; каждое ее действие, каждое движение, каждое слово оказывалось неожиданностью. Она вечно страдала от влюбленности, то одной, то другой. Каждое свое увлечение воспринимала всерьез, как несчастье, как трагедию, совершенно не представляя себе действительных масштабов события, и нередко изливала душу Еве, которая посмеивалась над ней и утешала ее. Муж Иды, контролер, никогда не бывал в Голландии: он получил образование в Батавии, в гимназии Вильгельма III, по классу Колониальной администрации. И было так странно видеть этого уроженца Нидерландской Индии, внешне – типичного европейца, высокого, светловолосого, бледнокожего, со светлыми усами и живыми голубыми глазами, обладающего прекрасными манерами – лучшими, чем в лучших кругах в Европе, – и при этом совершенно не по-колониальному мыслящего, говорящего и одевающегося. Он рассуждал о Париже и о Вене, как будто жил там по многу лет, хотя ни разу в жизни не покидал Явы; он обожал музыку – хотя с трудом воспринимал Вагнера, когда Ева играла его на рояле, – и искренне мечтал наконец-то съездить в Европу во время отпуска, чтобы посмотреть Парижскую выставку. В этом молодом человеке ощущались удивительное благородство и прирожденный стиль, словно он не был сыном европейцев, всю жизнь проживших на Яве, а приехал из неведомой страны и принадлежал к национальности, которую невозможно сразу определить. У него был слабенький-слабенький мягкий местный акцент – влияние климата; но в целом он говорил по-голландски настолько правильно, что в метрополии, где слышится в основном небрежный сленг, его язык показался бы высокопарным; по-французски, по-английски и по-немецки он говорил с большей легкостью, чем большинство голландцев. Возможно, эту экзотическую учтивость – прирожденную, изящную, естественную – он унаследовал от своей матери-француженки. У его жены, в чьи жилах тоже текла французская кровь – ее предки жили на острове Реюнион, – это экзотическое начало проявлялось в букете таинственных причуд, выливавшихся в одну лишь ребячливость: бурление неглубоких чувств и мелких страстишек; она смотрела на жизнь грустными, трагическими глазами и воспринимала ее как плоховато написанный роман.

Сейчас ей казалось, что она влюблена в главного инженера, самого старшего в компании, с уже поседевшей головой, но еще чернобородого, и воображала сцены, которые ей устроит

---

<sup>30</sup> Руджак (малайск.) – салат из полужелтых фруктов с острым соусом.

меффрау Дорн де Брёйн – полная, спокойная и склонная к меланхолии дама. Доктор Ранцов с женой были немцами, он – полноватый блондин, недалекий, с животиком, она – симпатичная и добродушная матрона, бойко щебетавшая по-голландски с немецким акцентом.

Вот в каком кружке царила Ева Элдерсма. Кроме Франса ван Хелдерена, контролера, кружок состоял из самых обыкновенных людей здешнего и европейского происхождения, лишенных «художественной линии», как это называла Ева, но в Лабуванги выбирать не приходилось, так что она забавлялась, выслушивая излияния Иды с ее девчоночьими трагедиями и приспособляясь к остальным. Ее муж, Онно, вечно усталый из-за работы, говорил мало и только слушал.

– Сколько же времени провела меффрау ван Аудейк в Батавии? – спросила Ида.

– Два месяца, – ответила жена доктора, – на этот раз больше обычного.

– Я слышала, – сказала меффрау Дорн де Брёйн невозмутимо и со скрытым злорадством, – что на этот раз ее в Батавии развлекали один член Совета Нидерландской Индии, один директор и трое молодых сотрудников из отдела торговли.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.